

# Дневник Неизвестного

18+

Марат Зайнашев

# Марат Зайнашев

## Дневник Неизвестного

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63104322](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63104322)*

*SelfPub; 2021*

*ISBN 978-5-532-99566-6*

### **Аннотация**

Людам несвойственно знать ответы. Где мой смысл? Под каким корытом, стесняясь, он прячет свой хвост? По крайней мере, на один вопрос я могу дать ответ: смысл ищут все, а кто не ищет – давно уже мёртв, даже если его жизнелюбивый скафандр не выпускает ложки из рук. Наверное, я сам лишь сосуд. Пустой, немотствующий, неодушевлённый. Спускаюсь по лестнице жизни в сугубую бездну, она ведь именно такая – всегда ведёт вниз, к промёрзшей до дрожи земле.

# Содержание

Введение.	4
Второе введение.	9
I	11
II	17
III	22
IV	33
V	37
Д.Н.	44
VI	49
VII	60
VIII	68
IX	73
X	84
Д.Н.	91
XI	94
XII	100
XIII	105
Конец ознакомительного фрагмента.	108

# Марат Зайнашев

## Дневник Неизвестного

### Введение.

*Из дневника неизвестного:*

*«Я являюсь лишь неким третьим —  
Отношением первого и второго»*

Как узнать несомненно, что не спишь? Что дышишь по своей воле, и что игривый туман, — коим влекомый бредёшь среди ночи во тьме, — не отдалится снова, если сделать ещё один шаг? Хочется нырнуть в его густоту, но она всегда далека, недостижима, зыбуча, а кажущаяся близость её эфемерна, и только влажный холодок по коже напоминает осознанием о том, что всё это время ты им любезно и бережно был окутан. Аллегория к жизни, — коварно ускользающее, бесцельно существующее и непреходящее всеобъемлющее «Всё», — кем-то данное нам, и зачем-то.

Не терплю и считаю скудодушием ведение дневников, посему знайте, что я переступаю границы своего весьма принципиального личного пространства, строча эти мысли в бумагу; не подумайте также, читающий, что я поступил-

ся взглядом легко, без причины – здесь весомейший аргумент, не являющийся интригой, но умалчиваемый мною сознательно.

Вследствие первого абзаца вынужден добавить ещё одно своё раздражение о дневничном факте: существенно большей подростковой глупостью мне представляется назначение дневнику «Имени собственного», и уж тем более собственного, вроде «Дневник Мэри Джейн» и подобной чуши. Именно поэтому дневник сиротски безымянен.

Теперь хотелось бы по пунктово, в порядке убывающей важности ввести гласные правила, или, скорее, поставить одну такую крупную точку, – чтобы как холм, чтобы с вершины его можно было в призму данного мною ракурса наблюдать мои мысли с тем пониманием, что я от вас требую:

- 1) Мой не в полной мере дневник, пишется только (!) мной;
- 2) Да простит мне читающий несобранность мыслей (о чём подробнее далее);
- 3) Да простит мне читающий жизненно необходимые словоискажения (о чём далее ничего);
- 4) Наконец, четвёртым пунктом будет нижеследующее (пусть и частичное) объяснение причинности моих бессмысленных, вопреки энтропии колебаний:

В голове сейчас настоящая какофония, если честно. Часть меня беспокоит об этой дневничной деятельности, мешая сосредоточиться, а её головное буйство пробуждает

недавно усмирённую лень, и вот в такой обстановке приходится писать. Никакого уединения. Никакого спокойствия. Сил никаких.

Это всё неподвижность. Я, пожалуй, научусь писать во время ходьбы. Чтобы главному в голове уютнее думалось, хорошо бы находиться в движении. Тут действуют какие-то около Эйнштейновские законы – лента мысли только тогда начинает вертеться в бобине сознания, когда тело преодолевает пространство, расстояние, причём ему необязательно шевелиться самому! Отсюда развитость автобусного мышления. У вас не так?

Не могу удержаться от удовольствия почувствовать себя псевдоучёным и ввести, в рамках дневника, термин полторакилометровой мысли – именно такое расстояние преодолевает автобус, или мои ноги, от места моего вечернего пребывания до места пребывания дневного и назад. Именно такое расстояние требуется моему мозгу, чтобы хорошенько закипеть, перебуллить соображения по всем волнующим поводам и работать в это время максимально вдохновлённо. Любите ходить! Любите двигаться! Движение – мысль! Звучит будто каждый автобусный пассажир являет собой не уставшее амёбоподобное, а сущую реинкарнацию Аристотеля.

Теперь: «О чём же?! За чём же?!» – Кричат внутри меня недобитки ленивого мизантропа. Я – третье лицо, имею к истории, кою расскажет далее некий другой, самое косвен-

ное отношение. Я не обладаю достаточными наблюдательскими навыками и подходящим для такой серьёзной задачи характером, оснащённым усидчивостью, потому оставляю за собой вот подобные текстовые вкрапления, дабы читающий имел возможность оглядеться и делать выводы самостоятельно.

Здесь я отвлекаюсь без возможности остановиться – внутренний самовлюблённый альтруист напоминает о главной из ракурсных призм: очень важно сейчас, чтобы каждый делал выводы сам! Никого не слушайте! Никто не прав! Верить нужно только своей голове. Пусть она бунтарствует! Прежде чем воспарить, необходимо шагнуть в разверстые объятия пропасти. В полёте сознание свободно. В полёте обретается избавление от шаблонного самоопределения!

В соответствии с пунктом первым можно уяснить, что история отделена от дневника и лишь изредка будет перемежаться с выдержками из него во имя самого разностороннего рассмотрения совершённого, совершаемого и того, что ещё предстоит совершить.

Наконец, в заключение этого утомившего меня начала ничего не скажу. Впереди ещё слишком много страниц – хорошо, что мне не пришлось всё писать самому.

*Засим перо отдам другому,  
и откланяюсь  
во мрак.*



## Второе введение.

– Остановитесь. Вы действительно хотите войти в эту комнату? Впереди вас ждёт не самое приятное зрелище, хорошенько подумайте, и только затем...

– Делайте же, не слушайте его предостережений! Делайте шаг, он прост и лёгок – этот окрылённый любопытством шаг...

– Не думайте только, что сможете так же просто вернуться назад – как говорится, не зная броду...

Вы всё-таки ступили за порог. Что же, тогда скрип этой обшарпанной двери уже раздражил ваш слух и теперь эхом звенит в голове. Не задумывайтесь, просто сделайте вдох. Затхлый воздух... он так и бьёт по ноздрям, ведь вы только что были на светлой улице, наслаждались свежестью вечернего летнего ветра, как вдруг... Но даже неясно чем тут пахнет! Целое попури из неприятных ароматов, так что лучше не дышите – вы лишь на минутку, терпите.

А что видят ваши глаза? Они с трудом привыкают ко мраку помещения и словно не хотят отпустить от себя те блики яркого солнца, что принесли снаружи.

Лучистый мираж рассеивается, взору открываются контуры стен странной комнаты, заставленной хламом и заваленной мятым тряпьем. А вот показалась небольшая кровать,

сразу слева от двери – конечно же не застелена, и засаленное покрывало наполовину свисает с неё, подметая собою пол, который, впрочем, действительно нуждается в метле.

Напротив кровати стоит, пошатываясь, хлипкий стол из ДСП, под него задвинут деревянный стул, а на нём – старый, ещё с кинескопом монитор компьютера. Его гудение – не единственное, что нарушает тишину.

Ваши уши наконец различают голоса, а глаза так и не заметили двух молодых людей, сидящих вон там, в углу, на старой фuffайке, назначенной дежурной кроватью?

К сожалению, мне пора идти. А вы – у вас есть немного свободного времени, останьтесь, послушайте. В конце концов, это вы шагнули за порог. Надеюсь, ваш нос уже свыкся с собственной участью. До свидания.

# I

– Задержи дыхание, закрой уши пальцами и сиди в тишине... подожди... Как оно стучит, слышишь? Сердце, кующее нашу жизнь. Мы так глухи к его зову, слепы к сакральной истине, что таится в нём. Гордимся собой и руководствуемся лишь разумом – этим поверхностно судящим комком склизких извилин, рождающим рациональность, что раз за разом ведёт человека к беспутной войне или столь же беспутному всепрятию. Блуждая по лабиринту сознания, большинство никогда не находит выхода, теряясь среди предрассудков и страхов, основываясь на том, что видит и слышит. Я делю всех людей на...

– На куски? А тесак? В кармане? Это всё патетика. – Странную тираду первого, второй парень прервал не самой удачной шуткой и сквозь собственное хихикание добавил:

– Нет, честное слово! Тебя послушай, так только одно и можно предположить.

– Ну зачем так? – досадовал первый. – Нельзя столь грубо обрывать философские наплывы. Сам знаешь, как дороги эти вдохновенные моменты триумфа мысли!

– Извини, но я, к сожалению, слишком устал, чтобы слушать, и уж тем более думать о твоих триумфах. Лучше глянь, который час там? уже половина девятого? Боже мой... только с работы вернулся! Куда же ты, время, летишь... – тон

молодого человека скатился в совсем заунывный стон, и он, привстав, одним шагом, почти в падении пересёк маленькую комнатку от угла с фуфайкой-матрасом до своей старенькой кровати, с грохотом на неё повалившись. Через минуту он уже беспокойно сопел.

– Презренные телодвижения! – спустя время и шёпотом буркнул сквозь зубы тот, что остался сидеть на фуфайке. – Да я же только хотел... впрочем, если на то пошло, не питаю же я ненависти к сознанию человека! Все им просто неправильно пользуются, вот как и ты. Ведь сердце, душа, да разум, в конце концов, это, по-моему мнению – единое целое. Безнадёжный ты, что ли? Дрыхни, давай, всё равно не выспишься, а завтра – день сурка! Это ни в какие ворота! Пойду прогуляюсь. А ты лежи, лежи, спокойной ночи! Надеюсь, бабуля не побеспокоит. – С видом явно внутренне задетым тот, что наконец встал со своей фуфайки, вышел из комнаты и, хлопнув дверь, умчал куда-то в ночь.

Мгновеньем позже в комнату к сопящему парню вошло что-то лохматое, босое, источающее смрад и зловоние. Пошатываясь, нечто присело, или, скорее, взгромоздилось на стул справа от двери. От внезапного шума беспокойно сопящий парень вскочил и со злостью поглядел вниз на окровавленные ноги вошедшего существа. Оно изрекало невнятное:

– Сашечка, любовь моя, ты, этот... где мой, этот...

– Чё тебе опять?! – вскричал парень в крещендо нервозности.

– Не на-адо мне. Я, между прочим, не глухая, – совершенно спокойно, почти даже членораздельно молвила лохматая старуха, заумно склоняя голову набок, – я только спросить хотела, и всё... – искорки удивления появились в её голосе, а морщинистое лицо исказилось и разгладилось вокруг теперь до смешного широких глаз.

Оппоненты молчали, и атмосфера, без того густая и тяжёлая, сейчас тянула вниз словно болото. Лицо старухи изображало спонтанные пьяные гримасы, из которых резко высунутый вбок прикушенный язык да один прикрытый глаз – была самой частой и, наверное, боле всего наводила жути.

Внезапно улыбка озарила губы «прелестной дамы», она повернулась на стуле и, глядя на своего, по видимому, внука, очень по-доброму, даже любя, переменившись как погода в море беспричинно обругала того многоэтажным матом, требуя что-то своё.

– Я в рог имел твой кошелёк, иди у собутыльников ищи! Ты опять ноги чешешь! А лечиться не пробовала? Может у тебя там проказа? Да бог знает! Выйди отсюда! Вали! – парень метнулся и силой выдворил старуху из комнаты, заперев дверь на ключ.

Он прокомментировал поток лютой брани, сочащийся с той стороны фразой «Тварь неугомонная» – и с раскалённым добела лицом бесцельно осел на кровать.

«Сколько ещё... сколько ещё терпеть... – вертел в голове парень. – А что я могу? Какая-то обречённость, боже! Ну

кому это надо?! Убил бы... Устал. Всё. Все кости ломит. Тепло горит. Чуть-чуть бы подольше поспать, хоть немножко... А на завтра есть не приготовил. Господи! Двенадцать часов! А любезный мой сосед? Ушёл куда-то, как всегда. Хоть бы окно открыл уходя, не думает обо мне. Давай, надо вставать. Вставай, Александр! Где бы сил найти, где-бы... нельзя завтра голодным».

Оканчивая мысли Саша придавил зубами губы будто в обиде, стараясь не заплакать, и выстрелил взглядом исподлобья в сторону двери, откуда всё раздавался скверный шёпот страстно любимой бабули.

Он встал тяжёлым рывком, сутуло пошатываясь подошёл к окну, схватился за ручку и дёрнул из последних сил с видом жаждущего в пустыне. Окно отворилось, впустив наконец прохладу. Слегка загазованная городская свежесть мгновенно ворвалась в мир полный сладкого смрада. Саша глубоко, жадно втянул носом воздух. Со смакующим упоением кривовато улыбнулся, окончательно обмяк, облокотившись на подоконник, и забылся, глядя в ночную пустоту.

Неизвестно сколько он так простоял, но чувства презрения ко всему живому тягучими, липкими мыслями оседали в его голове, замедляя бегущее время. О, как он ненавидел по своему обыкновению всё человечество! Молодость его обжигала сознание крайностью, а нелёгкая, даже тяжёлая, страшная, – как он думал, жалея себя, – судьба, пусть и укрепляла дух, всё же оставляла свой отпечаток где-то глу-

боко внутри. Саша старался очистить мысли, просто наслаждаясь минутами... или часами... или вечностью... Однако крохи столь необходимого уединённого отдыха сыпались сквозь его пальцы, ведь в голове стучало что-то важное, что-то забытое, то, что хотелось бы забыть...

«На работу завтра. Не думать! Не вспоминать! – отбивался он, – Пошли уже скорее. Всё, вперёд. Неси меня, тело, не падай...». Саша медленно тянул в голове слова и вялые эти мысли автоматически направляли его измождённые ноги. Он подошёл к двери, собрался было в кухню, как вдруг, почёсывая лоб правой рукой, почувствовал липкую влагу на своих пальцах. Совершенно спокойно он взглянул на ладони, осмотрел их почти без удивления, но с отвращением поморщился – руки были в крови и сукровице, испачканы тонким слоем мешанины этих субстанций, а в голове его возникли мерзкие гниющие старушечьи ноги.

Ручка двери была также испачкана, и Саша, уже не имея сил удивляться, раздражаться и вообще реагировать на что-либо, бесцельно схватился за неё, застыв так на несколько долгих секунд.

«Снова испачкала, снова всё в крови, и я в твоей крови, бабка! Ох, вытекло бы из тебя побольше, чтобы с концами, радости пуще не придумашь! ... Так что я? Боже, мысли безумца. Пусть здравствует и дышит... Умоюсь потом. И приготовлю утром. Только будильник взвести...»

Усталость взяла верх в борьбе и Саша повалился на кро-

вать вновь, теряя последние нити мыслей. Всё тело его горело изнутри, безжалостная истома заламывала утомлённые кости. Засыпая, он немедленно пробуждался, дёргаясь и пугаясь себя самого, а после снова проваливался в поверхностный сон, в котором слышал лишь собственное: «Лежу, ну, слава богу, всё-ё... Лежу наконец...»

## II

Будильник он так и не взвёл. Однако проспав Саше помешал его друг, вернувшийся под утро, хоть и вошедший тихо, всё же бормотавший что-то себе под нос: «Схоластика, волюнтаризм, епитрахиль! Странное слово. О! а как там было...

*Иной одну лишь ночь страдал,  
А поседел к рассвету.  
Как странно, я седым не стал  
Всю жизнь бродя по свету»*

– Что ты лопочешь? Это чьи? – спросил сонный, измятый Саша, продирая глаза.

– Текстописца Шуберта с говорящей фамилией Мюллер. Это принятый перевод. Я, знаешь, не любитель оригиналов, мне наш язык и дорог и люб, – разводя руками отвечал парень.

– Господи! Времени-то сколько? – спохватился Саша и беспокойно вскочил.

– Как ты быстро оклемался! А с открытым окном тебе не холодно ли спалось? Да не спеши, есть ещё время. Работа твоя не убежит, утро раннее, – отвечал вернувшийся, притворяя окно и придвигая себе излюбленный стул.

– Ты пришёл только? И где бродил? – спросил Саша, интересуясь на деле более искренно, чем думал сам.

– Да по улице просто, на лавочке вот подремал. Там прохлада, благодать! Думал ходил о своём. О твоём, тоже, думал, – потягиваясь и позёвывая отвечивал бродяга.

– А тебе значит на улице спалось нормально... О моём? – Саша принялся уже собирать вещи, готовиться к работе насколько мог тщательно, однако мыслями всё же сильно отвлекался на разговор, интересующий не его самого, а что-то в его глубине.

– Ах, это вопрос восприятия! Понимаешь, когда всюду мороз и никакого просвета, то и холодом будешь сыт. А когда ты в тепле и чуток поддувает – вот это уже нервы.

– О моём-то о чём думал?

– Так именно о том! Какой ты слабовольный, думал, работа, и молодость свою губишь, имея ум и таланты! Я бы...

– Слабовольные знаешь где?! С лошадьми в овраге! – перебил нервно Саша, —или в соседней комнате вон, допивают портвейны и одеколон. Я человек сильный, меня этими проблемами не сломать! – Его лицо сразу отчего-то покраснело, и он оскорблёнными круглыми глазами уставился в собеседника. – Будто я один страдаю, нельзя быть эгоистичным! На свете уйма народу, кому хуже меня. Там убийцы, тут педофилы, где-то ещё теракты и людей обливают бензином... и если б все ныли и плакались, так мир давно бы рухнул – так я думаю. Не всем же быть бродящими по улицам,

до маньячного странными маргинальными личностями? Ты думаешь, ты таинственный и загадочный, или что? Чем, скажи мне, обоснована эта твоя тяга к отчуждению? Я бы и сам рад почаще скрываться от общества, но ведь человек существо социальное, как считаешь, Самуил?

– И быстро же вас можно раздражить, Александр! – усмехнулся парень.

Он как-то неумело, неприятно скривил губы, отчего Саша поморщился будучи в сильном раздражении от недосыпа, резкого пробуждения и этого вот оскорбления, которое запомнил надолго, хоть и не был злопамятным.

– Я не хотел тебя задеть, милейший друг! Разве *поддеть* немного, – сказал Самуил, особенно выделив слово «поддеть» странным рывком головы снизу вверх, – чтобы ты окончательно уже открыл разум новому дню и новым мыслям – что самое главное! А я, к слову, вовсе не *маньячный маргинал*, или как ты выразился, я лишь творческая натура и достаточно открытый для приятия вселенской правды человек... Да и на загадочность мне наплевать. А отчуждаюсь я единственно с тем, чтобы с природой поговорить, с миром, понимаешь ли. Я ведь люблю людей! Отчасти, конечно, и ненавижу их, но и люблю тоже! Мизантроп внутри твердит, что все они ничтожны и, конечно, он прав, но в целом, в целом мы бы мира без ничтожных людей не построили, и два царя без рабов и холопов не цари, а просто два обыкновенных ряженых идиота, полных, к тому же, самомнения. Но

это не так страшно, как рабы без царя. Вот тут вся собака и зарыта, но хвост её торчит, за него и потянем! – разогнался и распалился Самуил. – И кем, по твоему, они становятся? Свободными людьми или стадом овец? Ты собирайся, собирайся, я пока подытожу. Так вот: да они же сами себе нового царя выдумают и нарядят, лишь бы подчиняться и жить в угнетении, потому что мысль – сама по себе то есть, – является нашим всем! Где это я читал, что мы лишь мысли в мёртвом мире, одинокие и т.д. и т.п.? Впрочем ладно. Так вот, до чего я сам дошёл: мысль – она ведь наша душа, не так ли? А душа в этом мире страдает, она сюда только затем и послана, если послана вообще, и всё её вещество трепещет, дай только время подумать и осознать. Потому-то они и выбирают царя, чтобы в рабстве забыться, отрезать связь с мыслями и перестать думать, перестать страдать. Для них ведь удовольствие это не «круасаны у парижан», не созерцание рассветов и закатов каждый день, не мерцание звёзд, не мечты и не путь к ним, нет... Для них удовольствие и истинное счастье это именно перестать волноваться и думать, и пусть кто-нибудь другой страдает этим проклятьем! «А мы тут помолимся, бога побоимся, кланяясь и работая не разгибая спины» – и стойкие же люди, скажу я! Молятся богу из страха, а ведь страшно им единственно потому, что души свои они отдали во власть другому, высшему, хотя на деле все равны, равноценны, неотличимы друг от друга, разве что на иных больше возложено... Понимаешь, в чём челове-

ство? Сначала рабство опостылеет, а после и свобода... цикличность! Я тебе ещё не надоел? Да ты не слушаешь! Вот так и каждое новое поколение не учится ничему... – Самуил проговорил всё в большом возбуждении, явно озабоченный этим придуманным за ночь вопросом, а как закончил, наконец прекратил вертеться, скрипя стулом, за бегающим по комнате Сашей.

– Слушаю. Только думать об этом некогда. Слишком уж ты радикально, по-детски как-то всё изложил. Ну, готово. Куплю поесть по дороге, если не забуду. До вечера, ненормальный!

За время тирады Самуила, Саша успел сбегать умыться, одеться, накинуть любимую толстовку, которую никогда не застёгивал и даже немного посвежить. Он схватил свою рабочую сумку и прокричал эти последние слова уже будучи в коридоре.

– Сам ты ненормальный, внучек! – послышался голос слегка протрезвевшей, но оттого ещё более жуткой старушки. Своими слепыми, но очень любопытными глазами она выглядывала из комнатушки, по-видимому решив, что привычное в доме оскорбление адресовано ей.

Самуил тихонько притворил дверь, защёлкнул замок и, тяжело вздохнув, упал в свой уголок, где ютился у Саши по дружбе.

### III

Голодный и совершенно не отдохнувший Саша торопился успеть на свой рабочий автобус. Мысли его, большей частью, занимало прочувствование наслаждения этими минутами прекрасного утреннего одиночества, где нет никого. Ему одинаково страшно не хотелось: что идти на работу, где он ужасно уставал физически и, к тому же, имея мнительный ум, весьма активный и раздражительный – получал стресс; что возвращаться домой, и видеть опять эту грязь, вонь, ненавистную бабку и всё остальное, что там присутствовало.

О соседе своём он, конечно, думал хорошо; любил его за неизбежную своенравность, за, пусть и наивную, но всё же свободу мысли и за силу воли, что могла сойти и за глупость, но позволяла ему плевать на привычные порядки общества, не работать и только получать какое-то мизерное пособие, бог знает за что и почему ему выдаваемое, но на которое, тем не менее, можно было по крайней мере скудно питаться. Дружили они с совсем недавнего времени, но Саша рад был принять того к себе, тем более что хоть так он мог получать, пусть и небольшое, однако же удовольствие от нахождения у себя в квартире, где, по его мнению, лишь «гнёт и унижение».

Самуил, между тем, был в принципе единственным посто-

ронным человеком, допущенным Сашей увидеть весь «стыд и позорище» своего дома. Саша несоизмеримо сильно трепетал по поводу собственного жилища и презирал себя за то, что ничего не меняет, хотя, впрочем, всегда находил для себя же отговорки по типу: «Ну, вот помрёт и посмотрим...» или «Как только *она* помрёт, так сразу всё наладится!», а иной раз, когда это не помогало, заглушал осознание плачевного положения какими-нибудь заоблачными мечтами, или, попросту усаживаясь за старенький компьютер, забывался в видеоиграх.

На автобус Саша всё-таки успел. Пятничный день придавал ему внутренних сил, однако, как и всегда, сев в самый конец автобуса, он старался уснуть, урвать ещё хоть немного времени, но, как и всегда, ему мешали запахи садившихся рядом мужиков, уже с утра щеголявших такими перегарами, какие быка с ног свалят. Мало того, перегар вперемешку с чесноком, да ужасно противным мускатным орехом, якобы перебивающим запах алкоголя – действенной и быть не может смеси, чтобы на весь день наполнить человека чувствительного и непьющего отвращением к окружающим и раздражить его нервы до крайности.

Саша морщился, дышал через воротник толстовки и изо всех сил старался не задохнуться. Ему порой даже было смешно, казалось, будто все они делают это специально, лишь бы его ещё больше взбесить и в конец растрепать ему ганглии.

В такие моменты он ненавидел весь автобус, пропахший бензином; ненавидел водителя, неаккуратного и вечно спешащего так, что Сашу подкидывало и встряхивало до треска в мозгу; ненавидел поддатых, вонючих мужиков, окружавших его со всех сторон; снова ненавидел водителя, который включал радио, рассчитанное на недоумков так громко, что наушники с собственной музыкой становились единственным, пусть и частичным, но всё же облегчением этого страдания; ненавидел себя: за то, что изо дня в день он продолжает склонять голову и смиренно терпеть столь ему опостылевший образ жизни; и за то, что в который раз он, *идиот*, забыл наушники дома.

Однако же, было там и кого любить. Искренне он любил своих прямых коллег по работе, – с ними, к слову, ему повезло. Они весьма отличались от остальной массы тамошнего его окружения, Саша питал к ним тёплые чувства уже по крайней мере потому, что в автобусе они ездили редко. Все они и каждый по отдельности чем-то радовали его, хотя он не вполне принимал этой своей к ним теплоты, старался держаться отстранённо и как можно менее контактно, сам даже не понимая отчего. Вечно он невольню улыбался им при встрече, проявлял свою природную душевную доброту и, здороваясь очень уважительно, чуть не кланялся, а внутри так и горело от бессилия себя остановить и объяснить себе же, для чего он столь вежлив и тактичен.

Приехав на работу, Саша ощутил постоянную внутри же-

лудка двухпудовую гирию. Его тянуло к земле желание упасть и умереть. В голове путались мысли, перемежаясь с яростных на смиренные, первые из которых праведным пламенем уничтожали все его принципы и ценности; а вторые, – так ему представлялось, – золотой искрящейся дланью рассудка и порядка уравнивали эту борьбу, выставляя наружу спокойный улыбающийся лик. Так он и вошёл в привычную, и одновременно непривычную, обыденную, рутинную и столь ненавистную рабочую среду: улыбаясь.

– Доброе утро! – По привычке произнёс Саша, протягивая руку всем своим коллегам грузчикам.

Саша работал именно грузчиком на большом промышленном складе, а места хуже для молодого человека, обременённого столь многим и главное – необъяснённым и непонятым стремлением к туманным высотам, найти было нельзя.

Поздоровавшись, Саша снял с себя толстовку и сел за стол, где все проводили спасительные минуты отдыха, играя в «тыщу» или «дурака».

Первые пятнадцать минут, как всегда, каждый из работников совершал общий утренний моцион в форме расхлёбывания горячего чая из огромных кружек. Чай в них остывал долго и все негласно радовались освобождению пары лишних минут, в особенности приятных тем, что они будто бы непричастны к этому действию, что: «вот, мол, чай виноват».

Рядом с Сашей по обыкновению сидел старший грузчик – здоровенный мужик, кружка которого была ну уж слишком

большой. Его звали Олегом, и чая он пил больше всех, сидел к Саше ближе всех, и хлюпал с наслаждением своим горячим чаем в разы громче всех. Хлюпал так, что уши закладывало.

Можно себе представить страдания любого культурного человека, попавшего в такую обстановку, а уж страдания раздражительного и уже совершенно раздражённого Саши, забывшего, *мать их*, наушники, доходили до пароксизма. Единственное, чем он старался себя успокоить, была положительная черта Олега – едва ли не абсолютное, необъяснимое и пугающе молчаливое логическое мышление. Напоминающая себе об этой его черте, Саша изо всех сил старался не ударить великана по лицу. Фамилия у него была очень подходящая – Логичёв, на что Саша всегда обращал внимание. Возможно даже больше, чем следовало.

В общем, день был не из приятных. Кроме Логичёва с Сашей работали ещё два грузчика: Азилов Саид и Константин Пасевич. Оба сидели чуть поодаль от Саши и оба, как всегда, весьма оживлённо спорили о каких-то политических новостях, нервирующих его ничуть не меньше непрекращающегося хлюпания со всех сторон.

Время моциона вышло. Стукнув кулаком по столу, Пасевич, с видом полным энтузиазма встал и сообщил, что сегодня «Кровь из носа» необходимо что-то куда-то перетащить, и, важно отчеканив слог, двинулся из-за стола, зазывая с собой Саида. Саид весело подскочил и, продолжая шумную полемику о неугодных властях, вприпрыжку помчался за ним.

Бригадир поднялся вяло, заняв вдруг, вытянувшись во весь рост, практически всё пространство небольшой обеденной комнаты; как и всегда он задел головой, лысеющей смешной тонзуркой, лампу, висящую, по его мнению, слишком низко, тихонько матюкнулся и отправился на улицу курить.

Саша не хотел вставать со скамьи. В его голове неустанно повторялось: «дискомфорт, дискомфорт, дискомфорт!», и желание вырваться из этой адской круговерти нарастало с каждой мыслью о работе, абсолютно ему «ненужной, опостылевшей, осточертевшей!» – внутренне вскрикивал он.

Сашу потряхивало от нежелания выполнять что-то необходимое, казалось, если бы эта работа не была ему так нужна, он бы с лёгкостью выполнял её всю жизнь, но вот она, жизненно важная, и оттого такая противная, укоризненно свербит в голове своей этой *важностью*, лишь вызывая всё большее отвращение к себе, полоша в сознании Саши его бунтарские стороны. Это бунтарство в нём не было как-то особенно развито, однако имелось, как у любого человека, только с напряжением весьма большим, чем требовалось для спокойного существования, и рождало порой – вот как и сейчас – идеи внезапные, каких ни сам Саша не ждал от себя, ни окружающие люди, привыкшие к его обычному спокойствию.

Теперь одна из таких идей посетила его голову – взять и просто уйти с работы. «Мимо начальницы, или к ней напрямик?» – Думалось ему на пути к кладовщице, называемой

им начальницей ввиду её главенства. Как бы ни хотелось ему обойти подобный разговор из разряда «Терпеть не могу», а всё же он шёл к ней виниться по полю битвы двух собственных сторон – бунтарства и совести.

Уже приступившие к работе Пасевич и Саид значительно посмотрели на проходящего мимо Сашу и, заметив в том чрезмерную усталость, появившуюся как-бы из ниоткуда, сочувственно и понимающе повели головами, но сейчас же принялись работать, отбросив любые заботы. Саша назвал их роботами про себя, хотел было дать волю злобе, но, пых-тя, продолжил идти мимо, угнетая восстающую внутри экзальтацию.

Дойдя до кладовщицы Саша оробел – совесть побеждала в войне, ему хотелось теперь спрятать голову в туловище, чтобы кто-нибудь другой, но не он, отпросился с работы домой.

– Чё это ты? – как-то рывком, невзначай спросила довольно крупная женщина лет сорока, не отвлекаясь от дел. – Ну, чё мнёшься? – прибавила она после и повернулась к Саше с угрожающим видом.

– Людмила Фёдоровна, мне очень домой надо, – промычал Саша и, поняв, что сказал не то, что задумывал, покраснел, будто сдерживал внутри себя атомный взрыв. – Очень надо домой. – зачем-то повторил он и совсем на себя разозлился.

– Тебе плохо что ли? Не разберу, шо ты бормочешь.

Саша правда невнятно лепетал, хотя ему казалось иначе.

– Д-да, – выдавил он из себя наконец и слегка пошатнулся. Он смотрел в пол и когда поднял глаза на кладовщицу немного пришёл в себя.

– Можно мне воды, пожалуйста?

– Господи! – всплеснула руками Л.Ф., – точно весь бледный стоишь. Осунулся весь! Пойдём-ка в бытовку к вам. Домой тебя отправить? Скорую вызвать? У тебя что, сердце? Давно плохо-то, а? – она быстро схватила в охапку безропотного Сашу, отнесла в бытовку и легко усадила за стол.

– Держи вот, выпей. Языком-то можешь ворочать? Ну, скажи, где болит?

– Очень устал, Людмила Фёдоровна, очень... – Саша не мог сказать неправду и, как всегда, просто и прямо молвил действительное, хоть и не говорил всего. – Сил нет, нужно отдохнуть. – он сделал глоток и на лбу его проступили капельки пота.

– Вот, будто ожил сразу... – кладовщица разглядывала Сашу насупив брови, видимо размышляя о дальнейшем.

Саша рукавом отёр пот со лба. Ему стало стыдно тройне: беспомощный дурак, он даже не сумел для приличия выдумать себе болезнь; позволил женщине нести себя и помогать себе; и теперь сидел, молчал, стыдясь того, что она своим видом его только нервирует.

Следующие пять секунд показались Саше вечностью. Он старательно делал вид, будто смотрит на Людмилу Фёдоровну и ждёт решения своей сегодняшней судьбы, но смотрел

сквозь неё, лишь бы не видеть так близко, так чётко этот её напряжённый, морщинистый лоб и видел лишь крупное, расплывающееся пятно перед собой.

– Отправляйся домой, шо делать с тобой. Не дай бог упадёшь мне тут, – прервала томление Саши Л.Ф. – Чё случилось хоть расскажешь? Как же ты себя так довёл? Ты ведь не пьёшь? А мешки под глазами какие! Да ты не спишь наверное совсем? И не ешь? Все вы, мужики, в молодости вот так. Здоровье надо беречь! Сам доберёшься? Деньги есть на такси?

– Да, благодарю вас. – вяло ответил Саша, вертя в голове: «будто ты шибко старая», неясно почему заострив внимание именно на той, непонравившейся ему фразе о возрасте. – Да, конечно, доберусь, благодарю... благодарю. – добавил он и попытался встать.

– Давай уж. – Л.Ф. снова схватила шатающегося Сашу под руку как пушинку и понесла к выходу.

Всю дорогу по пути Саша тщетно пытался вырваться. Наконец, сумев уверить начальницу в том, что имеет силы идти и сам благополучно сядет в такси, а в понедельник будет на месте как огурец, он очень значительно, чуть ли не кланяясь в пол её поблагодарил.

– Начальника на месте нет, так что прикроем, – вдогонку бросила кладовщица и удалилась.

На выходе Саша встретил бригадира, уже докурившего и теперь вопросительно смотрящего на него. Немногословный

обычно, он и сейчас ничего не сказал, но по некоторым движениям его постоянно насупленных бровей и ленивому подобию одобрительного кивка, Саша понял, что объяснений не требуется.

Олег мерно и тяжеловесно вошёл в склад, но Саша не успел даже двинуться, как на улицу выбежал Пасевич, обеспокоенный и явно собиравшийся любопытствовать.

– Чего, плохо? – на удивление Саши бестрепетно спросил Константин. – Домой?

– Да, вот. – опять замявшись, с трудом выговорил Саша, но быстро выправился и добавил:

– Занемог, то есть, не могу уже, достало всё – конечно, не это главное, а то, что я изнываю от усталости, не могу никак выспаться, хотя спать стал уже сверх меры, вот и решил сегодня поддаться нуждам организма.

– Ну ты даёшь. – неясно чему, как подумал Саша, удивился Пасевич. – А на счёт причины, я так думаю, именно то и главное, что ты говоришь, мол не главное. Чего бы ты хотел от жизни? Никогда не рассказываешь о себе толком. В твоём возрасте надо бы стремиться, рвать и метать, а ты гробишь себя здесь. – как-то особенно прочувствованно и в точку сказал Константин робко отходящему Саше, которому уже не терпелось уйти.

– Кажется и верно это. Вы вот в цель прямо сказали. – Саша произнёс это автоматически, по своей привычке соглашаться со всеми во всём, что более менее верно, чтобы не

огорчать и не обижать людей. Однако внутри, как это часто и было на самом деле, в корне не согласился с утверждённым, или согласился, но никак не мог признать, что так оно и есть.

– Ну, верно или нет, это каждому своё. Ты, давай, работу не бросай. Работа – жизнь. Что тебе нравится-то? Добавь себе в эту жизнь какой-то элемент творчества, разбавь труд, пусть он тебе нравится. Не прав я? – уже почти кричал Пасевич удалявшемуся Саше, но тот, по невозможности придти к согласию с самим собой, невозможности принять сторону Константина или свою, возразив ему, просто уходил улыбаясь и прячась за этой улыбкой от собственного же стеснения.

## IV

Домой Саша добирался автобусом. Было девять утра и автобусы небольшого городка разъезжали почти пустые, как раз покончив с основным потоком людей. Тем не менее, как Саше ни хотелось сейчас одиночества и спокойствия, он всё же умудрился повстречать знакомого, хотя и единственного, наверное, во всём городе его знакомого, которого он спокойно терпел, а к семье его даже испытывал тёплые чувства.

Знакомый этот – сорока лет мужчина, сухой, будто измождённый, не слишком высокий, но кажущийся таким в силу худобы, смуглокожий, с проседью в волосах и усах.

– Домой? Уже отработал что ли? Здорово, Сашка, – бодро, быстро, но чуть не шёпотом произнёс мужчина, едущий в пустом автобусе стоя, улыбаясь и поводя глазами в сторону где, по-видимому, как он знал, находился дом Саши.

– Здравствуй. Да... отпросился. Устал, – отрывисто ответил Саша, протягивая руку. – А ты, опаздываешь? Давно мы, кстати, уже не виделись. Как пацаны? Как жизнь? – выдавливал из себя Саша вопросы, интересующие его меньше всего вообще и в особенности сейчас, пытаясь настроиться на разговор из уважения. – Так Лиля же беременна была! Ну, какой месяц уже? – тут Саша обратил внимание на сидение, у которого стоял его знакомый, что-то придерживая. Там была корзинка с цветами, всевозможными фруктами и блескучей

почётной лентой с надписью «Моя героиня!».

– Уже не месяц, а первый день жизни, – снова быстро и как-то робко, стесняясь собственных слов, сказал мужчина.

– Так ты к ней едешь? Поздравляю! – Саше требовалось всё больше усилий для проявления неравнодушия. – Кто там? Как назвали?

– Да ещё не назвали. Выдумывали много разного, но так и не сошлись. У нас же мальчишки одни были, и вот – первая девочка. Ты, Санёк, как выпишут её, приходи к нам в гости, денька через четыре. Я позвоню тебе. Познакомлю тебя с нашей красавицей! Я, кстати, сам только знакомиться еду, родилась под утро. А подарки я заранее ещё купил, цветы вот, только, с трудом нашёл, благо бабулька знакомая выращивает сама, и поднимается рано, я от неё буквально. – Он посмотрел глазами куда-то внутрь себя, что-то ища. – Пацаны, ты спрашивал? Да потихоньку, Старший, Андрюха, вот в девятый переходит, буквально на следующий год; близнецы, обормоты мои, только в школу собираются, будут, буквально, грызть гранит науки. Натерпятя с ними учителя, что поделаешь, – мужчина разволновался и ускорился больше чем прежде, но упоминая свою девочку на миг становился увереннее.

Саша не слушал. Он безуспешно боролся с собственными губами, силясь потуже их растянуть в улыбке, чтобы не расстроить счастье собеседника мрачной усталостью. Он смотрел на мешки под глазами мужчины, на тонкую, древес-

но-смуглую кожу, на перетруженные вены и сухожилия, проступившие сквозь неё. Но больше всего его занимал взгляд. Саша понимал этот взгляд, может быть, слишком по-своему, но ему казалось, что усматривал он в нём самую подлинную суть: жизнь вела человека не туда, куда ему хотелось бы идти, но идти приходится, потому что для его слабовольного покорства нет никакого шанса выместить себе поворот – отсюда вынужденная борьба, вынужденная жизнь, которая, скорее, существование.

Поймав себя на идее, Саша вдруг осознал, что все эти апатичные измышления – всё влияние Самуила Эвеля, его и теперь, и впервые вообще лучшего и самого ближайшего друга, живущего у него вот уже как полгода.

– Твоя остановка, Сашка. Чего-то тебя накрыло, – прервал размышления Саша мужчина. — Задумался ты крепко, не врёшь, значит, что устал, – добавил он и улыбнулся.

– О, – воскликнул Саша, – я побежал! Обязательно приду, буду ждать звонка, привет от меня всем! И ещё раз поздравляю! – Саша немного ожил от мысли о своём друге и от той радости, что незаметно возникла в нём по окончании долгого, как ему показалось, разговора. Он выскочил из автобуса уже полный сил и, одухотворённый, лёгким шагом направился домой, предвкушая замечательный выходной день, сладкий более оттого, что он хоть ненадолго свободен от гнёта работы и долга.

Дорогой Сашу одолевал просто истовый детский восторг,

сгладивший, казалось, все неровности от печати усталости на его лице. Он шёл, или бежал, может, даже, вприпрыжку, и не мог потом вспомнить, как добрался, но отметил почему-то, что ему очень легко шлось, что он помнит каждую передуманную мысль.

Весь путь Саша думал лишь о своём друге, которого сегодня утром и ещё вчера так отверг, а теперь вдруг понял и правильно воспринял всю серьёзность мыслей Самуила, пусть выраженных, как он всё равно считал, слишком вычурно и до противного высокопарно.

## V

Утренний роддом гудел ещё с ночи, продолжая ходить ходуном и теперь. Виктор Андреевич Горшин, подходя к крыльцу с корзинкой подарков, не обращал внимания ни взором, ни мысленно ни на что, кроме прекрасных деревьев, так знаково нащёптывающих в эту замечательную пятницу и именно ему что-то восхитительное, отчего он лукаво улыбался и шурил глаза, зная, что только для него, и кое для кого ещё, с ветром в унисон поют эти, подсвеченные сегодня особенно тёплым и ласковым солнцем зелёные листья. Он не обратил внимания на пьяного мужчину, лежащего в обнимку с цветами на скамье прямо под окнами роддома; не слышал недовольных перебранок, звучащих из тех самых, раскрытых нараспашку окон первого этажа, что были над скамьёй, приютившей новоиспечённого папашу; не слышал и медсестру, достаточно дородную и даже громоподобную, уже несколько минут твердившую ему, что «К ребёнку нельзя, занесёшь заразу всеми этими игрушками и цветами!» и что «При желании, мог бы зайти с другой стороны и покричать в окна». Как она ни старалась, он лишь улыбался ей и думал, что такая милая и сильная женщина уж точно ему поможет. И правда, сквозь пространство и время он вдруг очнулся под окнами палаты своей жены, и уже умилялся красоте любимой, восхитительной его девочки.

– Ну, как назовём, Витя? – радостно кричала женщина, слишком уж худая, даже тощая для матери, обладающей такой неразумной детородностью.

– Я, буквально, не знаю, Лилечка, любимая! – столь же радостно и со слезами, смеясь отвечал счастливый многодетный муж.

Каждого нового ребёнка в свою семью Виктор Андреевич принимал именно так. В почти полном беспомоществе он добирался до роддома, бесконечно счастливый и полный восхищения новым премилым существом стоял под его окнами и всё сомневался в выборе имени, предоставляя эту честь жене. Жена – Лиля, в свою очередь старалась интересоваться у мужа и, хорошо зная его и его особенные «сдвиги», как она их называла, произнося имена вглядывалась в лицо Виктора, чтобы увидеть в нём одобрение или, чаще всего, отвержение, тщательно им скрываемое.

Виктор ужасался при одной мысли о том, что ему опять нужно придумывать имя и что на нём лежит эта превеликая ответственность, и что вдруг потом ребёнок скажет, что ему это имя не нравится и папа виноват в том, что так премерзко его назвал, и всё это продолжалось в его голове уже три ребёнка спустя, снова и снова как в первый раз, но главное, о чём он переживал, это мнение «окружающих» в единственном лице его жены, с которой он не то, чтобы боялся конфликтов, но в высшей степени старался их избегать, поскольку ни в одном споре с ней до сих пор не оправдал собствен-

ного имени, и не победил. По таким причинам он обычно и молчал, глядя куда-то мимо жены, затрудняясь высказать мнение об очередном названном ею имени. Сейчас же из окна решили не кричать и выбрать чуть позже дома, однако Лиля, конечно, давно знала, какое имя даст своей первой и долгожданной дочери.

Оставив подарки на вахте и распрощавшись с женой и ещё одной своей новой любимой маленькой женщиной, Виктор Андреевич чуть не галопом отправился на работу, чтобы забыть и не думать о свежей и чересчур яркой в мыслях ответственности.

Тем временем Лиля лёжа в палате с доченькой на руках трогала её нежное тельце, прижимала к своей груди, а губами, целуя ребёночка то в крохотные губки, то в кругленький лобик маленького милого личика, про себя смаковала каждую букву выбранного ей имени, пусть и не слишком оригинального. «Машенька, Маша, Мария, Машулька. Моя малышечка, красавица!» – думала она почти вслух и улыбалась мирно лежащей на её руках беленькой девочке. Лиля очень заняла себя этой заботой, однако девочку скоро отняли.

Материнские руки пустовали, не знали куда себя деть. Лиля решительно не хотела замечать лежащих в одной с ней палате и бурно беседующих двух молодых мам. Она старательно пожимала пальцами складки плохо выглаженного покрывала, теперь так явно проступившие тенями, когда унесли её «Ослепляющую любимую солнышку», делая вид, что ужасно

занята мыслями и этим важным для неё делом. Ей хотелось ещё раз передумать, перебрать в голове всю бытовую волокиту, которую она любила или, по крайней мере, говорила, что любит, но на деле же, самонепризнанно, считала её только женским долгом, отрицая, что в последнее время и при таком количестве детей этот долг её скорее тяготил, нежели доставлял удовольствие.

Взяв с рядом стоящей тумбы книгу, чтобы занять руки хотя бы перелистыванием страниц, Лиля принялась всматриваться сквозь неё и вспоминать каждую мелочь, имеющую на самом деле огромное значение. «Потому что, это же ребёнок» – объясняла она себе самой, и в этой фразе заключались все её многолетние измышления о материнстве и роли матери вообще. Она словно забыла за множество семейных лет к чему и зачем ей всё это. Она слишком устала.

Как ни старалась Лиля думать о важном, как ни занимали её голову мысли о нежнейшем существе, чьё тепло так отпечаталось на руках – думы её совсем не желали складываться по подписанным полкам и упрямо расставлялись в порядке собственной, непризнаваемой Лилей важности.

Она перепробовала сотню методов успокоиться, чтобы не подпустить эту запылённую и такую назойливую полку мыслей, но каждый раз отвлекалась, видя перед собой только пальцы, длинные и тонкие, натруженные и совсем, как ей сейчас мерещилось, не женственные и вовсе будто не женские; отвлекалась и видела лишь прекрасный летний день, в

который она вынуждена лежать в палате, пусть и выполняя долг перед высшим и главным в жизни; отвлекалась, и слышала непринуждённый разговор двух, сначала показавшихся почему-то пошлыми, даже безнравственными, а теперь просто милыми, молодыми и свободомыслящими девушками, и очень завидовала этим девушкам, этому их простому разговору.

Лиля всматривалась в лица девушек и незаметно для себя стала любоваться ими, тем, как одна из них, луноликая и пышная, здоровая и с выражением глаз совершенно беззаботным, очищала своими, почему-то казавшимися Лиле восхитительными ручками так ненавязчиво и свежо пахнущий мандарин, не отрывая ни кусочка кожуры и снимая её целиком, в форме цветка лотоса, а после тем, как она ела дольки этого мандарина, и вдруг предлагала Лиле, подходя и протягивая руку с его половинкой.

– Вы не хотите, Лиля? – спросила подошедшая девушка, улыбаясь губами и вопрошая взглядом, но вопрошая что-то иное, не о мандарине.

– Ой, боже мой! Простите ради бога, Ирочка, я так уставилась на ваш мандарин. Это не потому, что я... это потому, что... я задумалась очень, вы извините, я вам помешала! – Запинаясь, выпалила словно из пулемёта Лиля, принимая угощение и почувствовала, как её щёки наливаются кровью. «Должно быть, уже зарделись», подумала она про себя, но её сухая и тонкая кожа на деле не открыла этих бурных

внутренних чувств, оставшись того же смугловатого оттенка.

– Что вы! – вклинилась вторая девушка, подтягивая к груди покрывало и округляя глаза. – Я всё надеялась с вами поболтать, но... нескромный вопрос, мы ведь все женщины, сколько вам лет? Я слышала, что у вас это уже четвёртый ребёнок... Вы замечательно выглядите и стройны! А я вот первого родила и очень боюсь своей неопытности и всех этих разом возникших проблем. Я, как бы (Лиля поморщилась при этих омерзительных её уху «как бы», хотя раздражена была уже словами о своей якобы замечательно выглядящей внешности), много литературы перечитала полезной, мне муж работать не позволил, и я только и делала, что изучала все интересующие меня вопросы, но всё же не думаю, что... даже самая, как бы вот тщательная теоретическая часть сравнится с хотя бы толикой практического, как бы настоящего опыта. Как же вам удалось справляться?

– Вы очень наверное полюбили детей! – восторженно поддержала вопрос подруги луноликая Ирочка, отблёскивая своими молодыми живыми глазами только что пробившиеся сквозь густую листву и попавшие в палату солнечные лучи.

В Лиле боролись сейчас две стороны: убеждённости в долге и общей, накопившейся от всего усталости, которую вытерпеть в одиночку в определённые периоды жизни человек попросту неспособен. Ей пришло в голову, что тут непременно нужен настоящий, глубочайший душевный отдых или отдушина в форме любовной шалости, или просто новых

граней уже крепкой, но за бытом забытой любви; и всюду тут важен муж, чтобы помочь, чтобы снять с жены груз и сберечь её, или же просто мужчина. Лиля занервничала оттого, что для всего ей якобы нужен мужчина, ей стали противны подобные мысли. Однако она помнила, как тяжело её мужу приходится на работе, что она тоже ему необходима, что материнский капитал, хоть и весомо облегчал воспитание ребёнка, всё же не мог решить финансовых проблем в виде ипотечного долга и целых трёх кредитов, на один из которых даже насчитывали пеню что они вот-вот погасили. Сумма всего этого выростала в агрессивного денежного колосса и отнюдь не о глиняных ногах. Лиля и обычно, и теперь в особенности, ревностно относилась ко всему, что связано с благополучием её семьи, – насколько она могла называть это благополучием, – и проводила параллели между каждым своим действием, каждым шагом и тем, как отзовется это в семье; аукнется главным образом на её способности быть твёрдой или же расшатает её и опрокинет. Она решила для себя, что отвлечение от мыслей о делах, пусть даже требующих самого пристального внимания, на это невинное мгновение не будет критично, ведь на мужа иногда можно положиться, и, стараясь выкидывать из головы каждое «как бы», разговорилась с девушками на самые разные темы, дав себе волю расслабиться.

## Д.Н.

Лежал сейчас на сырой траве под искорёженным жизнью деревом. Я люблю природу и даже рад, что довелось жить в такой полосе: ничего для меня нет прекраснее мокрого хвойного горизонта, а разглядывая зелёную, многооттенковую пушистость сосен, коричневеющих могучими стволами вдали, можно даже уверовать в душу – внутри что-то неустанно восторгается этой хаотической красотой, одновременно незыблемой и... скоротечной.

Но не затем мне дневник и не хочется вас обременять своими наплывами патетически поэтического фарса. Кстати, пишу теперь на ходу – с моим умением приспособливаться, почерк буквально за пару часов выровнялся и я то брожу туда-обратно, размышляя и тут же записывая, то хожу кругами, будто в нерешительности.

Не отпускает меня это дерево. Мы с ним похожи. Я, между прочим, даже вернулся бы сюда однажды... уединённое моё, безобразное.

Вот как и это дерево – есть люди. Не обязательно безобразные, но такие же уединившиеся. Я намеренно не говорю «одинокие», потому что: одиночество – слаб, уединившийся – исполнен силы.

Наверное свежий воздух меня сморил, раз до сих пор держусь от распадения своего банального мнения о том, кто

имеет право называться человеком, но кое-что всё же рвётся наружу: здесь и там, образуя без сомнения величественные леса, растут худые деревья-соломинки, изящно жмутся друг к другу, ищут, к кому бы прильнуть, где бы пригреть свои безвольные тела, кому позволить определить судьбу и сущность собственных жизней.

Не терплю эти громадные леса! Даже слово пришло такое шумное: гром; ад. Громадный – значит бушующий, ревущий, бессмысленно пылающий! Но это пламя не потушат семантические слёзы лингвиста.

И вообще, читающий, не забудь смотреть в призму!

Высшим благом мне приходится тишина – мой синоним темноты и покоя. Среди шелеста кроны этого дерева и в тени его ствола я спасаюсь от всего стремящегося верховодить и главенствовать; от всего...

А эта книжечка у меня с собой. Она дописана недавно, и он отдал мне её, чтобы я теперь вырывал страницы из дневника и вкладывал куда вздумается. У меня ветер в голове, но обещания необходимо выполнять!

Чувствую, что хоть и через призму, а будет нелегко разобрать и смыслово объединить написанное мной с основным повествованием, однако здесь даже Сизиф наоборот! Как ни старайся, камень с горы не катится, а если и удастся столкнуть его в пропасть геометрической и пространствен-

ной нормальности – он со свистом закатывается назад, прищемляя мне ноги и руки.

Так действует моя своеобразная литературно-нигилистская совесть, беспощадная к любому читающему и смысловому, и зрительно.

Я говорил, что почерк выровнялся, но, как удивился читающий этот дневник в его свежести и подлинности – ровность из под моего пера так же далека от каллиграфии, как Достоевский от поэзии. Не подумайте – прозу его обожаю.

Закончу сутулый танец своего нарциссизма и продолжу плести над обыденностью неуклюжую драповую вуаль. Необходимость облекать мысли в понятность меня угнетает критически. Психически. Катастрофически! И ещё всячески, однако ж вот:

Из каждого самого удручённого, овощем высохшего мозжечка есть возможность извлечь его неповторимое собственное, обезличенный *modus operandi* – оксюморон, образ действия без лица, отражающий суть парадокса настоящего мира. Как и моей идеи о могучих деревьях! Дивный мир, созданный богом, вылепленный ли, представленный ли в голове, он всё же основан на его холодных, жестоких взглядах на жизнь, где слабое тянется к сильному, маленькое к большому (снова Эйнштейновские законы), и нет никакой возможности вобрать в себя больше, чем заложено от начала.

Гиблое место, – это ваше болото.

Я бы стал чёрной дырой – проецируя космос на челове-

чество. Бездонный внутренний мир, плотный, недвижимый, голодный.

Именно тяга к большому – бич человечества. Вбейте всем в голову тягу к становлению больше! Нам нужен не бескрайний лес никчёмного кустарника, а роща могучих дубов! Коли каждый дуб станет чёрной дырой, вместе они образуют единое целое. Каждый по-отдельности должен взрасти, чтобы вышло что-то действительно великое.

Но никто, конечно, не хочет. Если это был бог, если он заложил в нас подобные инстинкты – хоть всего меня истыкайте теодицеями и прочей чушью, а я в него не поверю. Внутри меня собственный бог.

В корне неправильная позиция религии пагубна. Религия пагубна. Глаза каждому даны мирозданием затем, чтобы он мог смотреть в свою сторону, куда вздумается. Сторон хватит на всех. Каждый сможет найти своего бога и руководствоваться тем, что заложено в нём.

Я закатился вместе со своим камнем на глупую, даже мне самому ненужную пропаганду, оскорбительную, к тому же, для миллиардов людей. Но выражение собственного мнения должно быть бескомпромиссно.

Уж не знаю, помогает ли моя призма читающему находить параллели и меридианы с тем, что написано вне дневника, но всё это совершенно точно аналогия под личиной, по-моему, довольно очевидных метафор. Больше я не буду обращаться к призме, и на уступки более не пойду. Это мой дневник

(«мой дневник» – смехотворно!), моя бобина с нескончаемой мыслевой лентой.

## VI

Для Саши утро тянулось приятно долго. Во дворе его дома, с четырёх сторон укрытого от внешнего мира пятиэтажками, мирно, почти бесшумно играли дети. Две девочки лет пяти лепили в песочнице что-то бесформенное, но очень милое, а двое мальчишек того же возраста таскали маленькие сухие веточки с лужайки с деревьями, делали из них каркас и строили, кажется, замок. Саша удивился их смышлёности, и пока шёл, успел построить в голове сотню разных домиков, так что ему самому захотелось присоединиться к этим спокойным, педантичным детям.

Проходя совсем близко он осознал вдруг с какой неотрывной страстью наблюдает за детьми, и что с той же страстью неотрывного любопытства следит за ним зоркое око дежурной детской бабули, прямиком из-под сени любезно скрывающей её берёзы.

Лиловым стыдом осознания Сашу накрыло с головой, и он, ловко отвернув лицо от пристального взгляда, ускорился к крыльцу.

Мысли о детях не ушли до конца – он вспомнил о новорождённой его единственного хорошего знакомого дочери. Саше стало грустно от мыслей о Горшине и в особенности об этой новой девочке; он сам не знал причину, но единственное, с чем она ассоциировалась сейчас для него, это пробле-

мы и трудности.

Открыв дверь подъезда, Саша почувствовал запах табачного дыма и понял, что спокойствие утра подходит к концу. Он вновь проиграл в голове все образы, накопленные сегодня, и все они были отрицательными – даже дети, играющие снаружи, представились ему не такими уж мирными и спокойными. Воображение разыгралось до того, что он видел метафору, будто каждое утро его душу переезжает злополучный рабочий автобус, и он, вернее его душа, словно в мультфильме, став плоской как лист, прилипает к чёрному, воняющему резиной грязному колесу и катится вместе с ним туда, куда ей совершенно не нужно.

Поднимаясь к себе на второй этаж, на пролёте Саша увидел невысокого, коренастого и жилистого мужчину в одних синих трико. Мужчина курил в окошко что-то очень крепкое, заполнявшее едким дымом не только его лёгкие, но и вообще всё вокруг. Услышав шаги, мужчина обернулся и стал так, что закрыл собой ослепившее Сашу солнце, проникающее через окошко подъезда. Теперь можно было рассмотреть на его торсе множество татуировок и разглядеть вытянутое, худощавое лицо. Саша узнал этого человека, хотя и не смог припомнить его имени, потому что вообще не любил иметь лишних знакомств и вследствие этого не утруждал себя запоминать имена, например, соседей или даже родственников.

– Санька! Какие люди! Сколько зим, сколько зим! – вос-

кликнул мужчина сипло, разводя распальцованные ладони в стороны. – Дай тебя обниму! Ничё ты вымахал, блин. – он потянулся здороваться и крепко сжал замешкавшегося Сашу меж своих жилистых рук. – Дядьку помнишь хоть? Ну, я не прям дядька тебе, в смысле не родня, – тут он засмеялся неприлично громким, хрипящим смехом, – С батей твоим дружили раньше близко, по делам молодыми шлялись. Руся я, Руська, Руслан, или Трофим, погремуха такая, по фамилии Трофимов.

Саша наконец выпутался из стальных объятий этого «Погремухи», собрал в кулак всю свою твёрдость, силу воли, чтобы не заплакать от усталости и злости на людей и сказал, что *помнит*.

Отвязавшись от нового соседа, узнав от него, что тот только *откинулся* и теперь вернулся в старую квартиру, чтобы «Жить поживать да добра наживать», Саша поднялся выше и пулей скрылся за своей любимой, пусть обшарпанной, но верной, спасительной дверью.

Сашу целиком окутали истомой долгожданные тишина и домашнее спокойствие. Обстановка квартиры всегда была мрачноватой и грязной, но хоть это Сашу угнетало порой, всё же было родным и привычным, потому он получал, и сейчас вдвойне, удовольствие от нахождения тут, а в голове его невольно всплывали приятнейшие «*Incognito ergo sum*» и он, шёпотом повторяя строки из стихотворения, расслабив-

шись направился к себе.

Скозь пространство коридора он влѣк своё тело в комнату, медленно растворялся в тумане мыслей и, глядя на защитницу-дверь, смаковал в уме свой любимый стул, думал о стенах, думал об особенном воздухе меж них, об обоях, с которыми сольѣтся лицом, как в стихе, и совсем позабыл о Самуиле. Он прокрутил шарик дверной ручки и вошёл.

Любимый стул стоял чуть левее стола, а на нём, боком к Саше сидел Самуил, уставившись в голую стену. Не чувствуя боли он откусывал огрубевшую кожу с пальцев рук рядом с ногтями и, делая это будто в беспамятстве, до крови зубами раздирал заусенцы.

Впервые Саша задумался о внешности своего друга. Если бы не еврейское имя, никто и никогда не сказал бы, что этот темноволосый парень может быть евреем.

Саша стоял всего мгновение, но успел проанализировать за это мгновение всё, что его так вдруг увлекло: мужественные, строгие черты лица; словно под линейку точёная, массивная геометрия скул и подбородка; ровный нос и густые, но слегка асимметричные брови, лежащие на выступающих холмиках надбровных дуг; короткие волосы, освобождающие всю выразительность его лица от ненужных иллюзий и широкий шрам на темени; и главное, раскрывающее эту самую выразительность, его глаза, мутно-зелёные, очень добрые, но сокрытые незримой вуалью, за которую никто и никогда не достаивался возможности заглянуть.

Этими глазами, словно стеклянными шариками он и смотрел мгновение назад в стену, а теперь пронзал ими Сашу, видя его, но будто не осознавая его присутствие. Он вновь повернул голову к стене и произнёс:

– Математическое подчинение.

Саша притворил за собой дверь и присел на кровати, оказавшись позади Самуила. Он долго молчал на слова своего друга, лишь размышляя, что могли они значить.

Оба они находились в прострации, каждый думал о чём-то и наслаждался уединением именно так, как это делают люди, когда совершенно одни. Два человека вовсе не замечали друг друга, превыше всего ценя спокойствие и возможность думать о собственном, волнующем только их. Страдающие непереносимостью общества кого угодно, они с удивлением обнаружили эту между ними особенность, позволившую двум нелюдимым находиться в замкнутом пространстве целыми сутками, не чувствуя и капли дискомфорта.

– Так и о чём ты? – спросил Саша, спустя пятнадцать минут молчания.

– Я сказал, что всё подчинено математике. И мне это осточертело. – Самуил будто наконец пришёл в себя, его глаза ожили и он, повернувшись на стуле и обхватив руками его спинку, смотрел на полулежащего на кровати Сашу, явно жажда высказаться и нервно вздымая брови в вопросительном ожидании.

– Мне лень задавать вопрос, просто рассказывай, – сооб-

шил Саша и приподнялся на вытянутых руках, чтобы больше не лежать. Он терпеть не мог пролёживание времени и почему-то полагал, будто его просиживание это уже нечто другое.

– Можешь ли ты себе представить четырёхугольник, в котором сумма углов не равна трёмстам шестидесяти градусам? Нет? Вот и я не могу. И это меня бесит! Нервирует! Всё тут математически подчинено! – говоря это, Самуил стучал по спинке стула одной рукой и успевал грызть пальцы на другой.

– Скорее геометрически. И зачем вообще тебе такое представлять, и где это *тут*? – Саше стало интересно и он подался вперёд. Отчасти он старался воспринять получше мысли друга оттого, что было сегодня утром и тревожило его по пути, но делал он это бессознательно, чувствуя где-то в глубине вину за небольшую грубость.

– *Тут*, значит *здесь*, – он старательно выделил эти слова голосом и глазами, как бы охватывая ими всё пространство и весь мир. – А зачем вообще жить, если нельзя даже представить?! Ты только попробуй, попробуй это, как это у тебя получится? Мы ведь всё можем в воображении, казалось бы, но только не этот квадрат, только не по отношению к математике, – сказал он, проигнорировав замечание Саши о геометрии. – Она просто отвратительна мне своей неподатливостью! Люди делят книги на главы, главы на абзацы, живут в определённых геометрией бетонных кубах и слуша-

ют радио! – при последних словах он значительно посмотрел на Сашу, ища в том что-то вроде намёка на собственное помешательство, но, ничего не обнаружив, продолжил. – Прости, я добавил к ненависти ещё одну лишнюю ненависть, просто она меня сильно волнует. Так вот, собственно, *геометрия* и математика неприкосновенны даже для нашего сознания, нашего воображения. И...

– Я думаю, что уже миллионы людей передумали подобное и ни к чему не пришли. Однако ты меня заражаешь, продолжай. Извини, что перебил. – Саша задумчиво потёр большим пальцем верхнюю губу, чтобы скрыть форму улыбки, проступившую от негласного признания Самуилом правоты Саши о геометрии.

– И это куцость! Полнейшая куцость мысли! Как она раздражает... – Самуил говорил отрывисто и часто прыгал с одной части мысли на другую. – Стремление людей всё окрестить, навесить ярлык, сжать до удобоваримых размеров. Ненавижу! И себя ненавижу за то, что, как и все, не могу себе даже представить! Давай попробуем ещё раз, смотри... я даже поверить не могу! Смотри. Нет, представляй себе, воображай. Как это интересно и отвратительно! Вот он: квадрат о четырёх углах. Смотрим на угол, возьмём пока хотя бы один из углов и расширим его, даже на один градус, всего один, вышло? Хорошо. А теперь другой. Третий. Четвёртый. Всё получилось, но мы смотрим по одному углу и не видим что там получается в общем. Давай по линии от угла

двигаться и держать в голове, что мы все углы на градус увеличили и квадрат должен быть неизвестно каким. Вот мы к середине линии подошли, и что видим? Линии порвались! Они не сходятся! Из квадрата либо получается многоугольник, либо просто рваные углы, никак между собой не соединённые! Но мы же в воображении! Как себе это вообразить? Квадрат именно что невообразимо глупая фигура, как и вообще вся эта геометрия и математика. Они нас подчиняют. И мы неспособны выйти за рамки, никаким образом. – Самуил говорил торопясь и запыхался.

– А как же прогресс? – Взволнованно и как бы обороняясь, спросил Саша. – Благодаря ему мы столького достигли, человечество добилось просто...

– Да ничего мы не добились! – вскрикнул Самуил, не дав договорить Саше. – Мы даже добивались не в ту сторону. Я тебе вот что скажу. Тот, кто будет способен представить себе такое, кто окажется вне рамок геометрии, математики, вне всего этого пространственного заключения нашего сознания, у кого из квадрата получится нечто, не знаю что, в чём не будет трёхсот шестидесяти градусов а больше или даже меньше, тот будет истинно великим человеком, колоссальным, и с него начнётся новая эпоха, новая совершенно жизнь для человечества! И только это можно будет назвать прогрессом.

– Я всё так же не понимаю *зачем*, и думаю, что эта фигура уже не должна быть квадратом, при таком твоём раскладе.

Хотя это действительно занимательно.

Саша оставлял в себе половину всего, что хотел ответить, умолчал про Римана и Лобачевского, которыми собирался возразить, его смущали ненормальность и кажущаяся бессмысленность умозаключений друга, но утренний факт ещё свербил в голове и требовалось быть к Самуилу помягче.

– Это сверхзанимательно, Александр, сверх! – Самуил заговорил ещё более возбуждённо, теперь уже в приподнятом настроении и даже с чем-то, напоминающим улыбку, на лице. – *А зачем* и не важно, главное думать! Думать хоть о чём-то, ведь нам, страшно сказать, и думать по большому счёту не о чем... и это ещё одна сверхзанимательная сверхпроблема сверхсовременного падшего общества, ведь всё уже передумали за тебя и требуют лишь следования выдуманному, и опять же математическому, этому отвратительному алгоритму: «родился – учись, а вырос – трудись. Углы соблюдай...» А дальше что-то не идёт, в конце обязательно должна быть безмыслая смерть без мучений и со слабой, минимально поэтической рифмой. Живёшь без мыслей – живешь без страданий, что сказать! – Самуил на мгновение замолчал, и вдруг на ходу сочинил четверостишие:

*«Как прекрасен и прост  
жизни главный вопрос:  
Чьи же краски и холст,  
И зачем ему хвост?»*

Он теперь сидел и значительно улыбался Саше, а Саша, пытаясь всё уловить своим немного тормозящим с утра и по сю пору мозгом, понял значение стихотворения и даже внутренне с ним согласился, но не совсем осознал, каким образом в разговоре о геометрии они дошли до *Него*.

Саше стало приятно слушать, пусть, может, и ребяческие, однако занимательные мысли друга. Он сразу заметил эту способность Самуила складывать слова в стихи и в особенности на ходу, и знал, что Самуил пишет давно и серьёзно, хотя никогда не видел в глаза этих стихов, так как Самуил всё держал в своём телефоне и никому не показывал, а спрашивать что-то столь сокровенное Саша не осмеливался.

– Я тут вдруг подумал, что должен написать трактат, в котором ввести термин «Угловая геометрическая отвратительность» или «Теорема отвратительности углов», в котором будет максимально лишённый математики, сплошной и с нечётным количеством слов и символов текст, описывающий угловую отвратительность и как и почему мы должны геометрию презирать и ненавидеть. Вернее, геометрия-то не виновата, виноваты мы, и презирать и ненавидеть должны себя за то, что мыслим узко и вообще ничтожны. Как думаешь, смогу заработать на подобном? – Самуил улыбался, говорил с долей иронии, но в глазах его оставалось что-то серьёзное, будто за той вуалью он своим словам категорически верит и полностью их оправдывает, с готовностью принимая.

Саша обратил на это внимание, но предпочёл продолжить разговор, принявший сейчас весёлый и светлый тон, как он есть.

– Ты веселишься, а сам пишешь стихи по конкретному алгоритму и вгоняешь слова в удобоваримый для уха размер.

– Чего?! – Самуил наигранно взбеленился, размахивая руками и громко крича, при этом всё более утопляя в глубине своих глаз, слезящихся от весёлого стыда, то серьёзное и важное, от чего Саша, поддев его шуткой, отказался. – Да ты даже моих стихов не видел! А вообще, есть верлибр, раз уж на то пошло! Нашёлся тут мне. Каков наглец. – Он стал выговаривать слова выразительно и надменно, будто бы обижаясь.

– Надеюсь, когда-нибудь ты поделишься со мной своими стихами, – минорно протянул Саша, заметив, что вуаль на глазах его друга подёрнулась, став чуточку толще. – Я поддерживаю твои мысли, хотя они кажутся мне каким-то в тебе инфантилизмом, несмотря на всю их серьёзность.

Саша добавил эти последние слова про инфантилизм и захотел ударить себя за них. Он, как всегда, говорил прямолинейно и побоялся, что Самуил воспримет его в ещё большие штыки. Но Самуил вдруг отвлёкся и, говоря уже выровнявшимся и спокойным тоном сказал, что надо бы поесть.

## VII

Время подползло к обеду. Саша, не евший ещё со вчера и наконец расслышавший стенания желудка, трясущимися от голода руками принялся добывать остатки ледяной курицы из примёрзшей к стенкам морозильной камеры целлофановой упаковки.

Самуил оставался в комнате. Он никогда не готовил и, по видимому, не умел ничего, кроме запаривания лапши. Саше удивительно было думать, как он умеет выживать и выкручиваться не имея ни жилья, ни работы, и притом сохранять достойную физическую форму.

Всё время подготовки Саша слышал музыку из комнаты, что-то для него новое, хотел прибежать послушать и посмотреть в этот момент на друга – тот прежде скрывал свои музыкальные вкусы, относился к ним даже с ревностью и тяжело переносил уговоры Саши поделиться с ним своими предпочтениями; но Саше не удалось провернуть скользкими от мяса руками ручку кухонной двери, и он, только испачкав её, решил сначала закончить.

Заложив в мультиварку остатки съестного сырья Саша немедленно помчался на звучание чего-то тяжёлого и депрессивного.

Самуил сидел на всё том же скрипучем стуле, но с закрытыми глазами. Он жестикулировал словно ткач у кро-

сен, пальцами следующий за нитями льющейся в пространстве музыки. Саша не посмел открыть рта и заговорить. Его и всегда увлекало всё необычное, творчески чувственное, – отчасти поэтому они с Самуилом могли друг друга терпеть; но теперь он окончательно убедился, что сожалеет о своей неспособности писать стихи или так до глубины души проникаться музыкой; и что несмотря на своё презрение к этому чувству – он завидует Самуилу.

Пока Саша увлекался мыслями о зависти и самоубеждением себя в том, что если он и завидует, то только в одном этом, а в остальном он Самуила превосходит, и в особенности в порядочности и адекватности жизни, – музыка доиграла до конца. Теперь нужно было что-то сказать, однако Самуил вдруг застыл, введя в ступор и Сашу. Лишь спустя неподвижную, увесистую атмосферой минуту он открыл глаза и, не поворачивая головы, заговорил сам, делая длинные паузы меж фразами.

– Это важнейшее. Музыкальное послевкусие, – он ртом попробовал воздух, будто пытаясь уловить в нём что-то от музыки. – Когда она ненавязчиво и приятно звучит в голове, постепенно стихая, как эхо... Она и в воздухе есть, ведь не иначе как по нему достигает ушей. И на совершенно буквальный вкус её тоже необходимо пробовать, и осязать, и... – он сделал длительную паузу и после добавил:

– А не только слушать. И смотреть на неё тоже нужно. Конечно же умозрительно. Конечно. Да. – он обращался будто

к самому себе, совсем не видя обомлевшего Сашу, но было ясно, что слова обращены к другу.

– Только этим соцветием из пяти чувств можно полностью открыть для себя музыкальный секрет, всецело слиться с ним и утечь по реке ритма, мелодии, их гармонии или дисгармонии, смотря что тебе там нравится... Только не нужно узкомыслить и думать, будто музыкальное послевкусие наступает обязательно в конце произведения; оно не менее важно и в середине, и в начале, о, особенно в начале! когда медлительно играет интродукция, постепенно вводя новые инструменты и высоты звука, которые, привыкаясь твоим ушам, звучат уже внутри головы, и даже после окончания своей партии и по вступлению новой, сквозь её крещендо они всё ещё играют для тебя, дополняя этим послевкусием эхом то, что ты слышишь сейчас. Конечно, наверное и для этого есть своё название – недостаток музыкального образования сказывается. Я говорю это для тебя потому, что чувствую, как ты хочешь и не можешь понять. – он подвёл своим словам итог поворотом головы со значительным заумным выражением глаз и бровей и посмотрел на дверной проём.

– Что это играло сейчас? – пришёл в себя Саша. Он был внутренне доволен, несмотря на то, что многое прослушал и долго стоял коснея; его согревали мысли о том, что Самуил поделился чем-то ранее ему недоступным и тем самым приобщил Сашу к желанному творчеству, перенёс его на пару ступенек выше; однако в глубине души Саша признавал,

что может понять смысл слов, но не может на деле повторить этот смысл и прочувствовать потоки музыки в той полной мере, о которой ему поведал друг. Через это, и ещё посредством присущей ему доброты, затмевающей зависть, Саша выводил себя на мысль, что Самуил человек уникальный, неповторимый, что он именно тот, кем хотел бы быть Саша, с его и физической и ментальной независимостью, свободный от всего, кроме, разве что, животных потребностей, и то даже сведённых к минимуму. Эта духовная отрешённость привлекала Сашу с самого детства, и теперь он обрёл в друге то, чего желал для себя.

– Dawnfall Of Nur – «Umbras De Barbagia» – вдохновенно декламировал Самуил несколько лебезящим тоном. – Это атмосферный чёрный металл, альбом надцатого года. И я тебе скажу, что, являясь человеком разносторонним и с обширными вкусами, признаю, что нашёл именно в этом жанре себя; а в этом альбоме, написанном всего одним человеком, я открыл для себя произведение тысячелетия! И пусть как угодно громко звучат мои слова, но ближайшую тысячу лет я буду слушать именно это вселенского масштаба музыкальное полотно! Я в гроб не лягу, пока не отслушаю эту тысячу! – Самуил проговорил всё быстро, в возбуждении и напряжённо настолько, что вены на его шее и лбу вздулись а сам он весь побагровел от рьяных чувств. – Безусловно, наверное, многим будет тяжело слушать что-то подобное, – продолжал он, чуть успокоившись. – Но эта музыка и пред-

назначена лишь для тех, кто что-то в себе несёт, кто не влачит а сквозь боль живёт с ношей; для тех, кто...

– И какая боль у тебя? – вдруг перебил Саша на самом важном для себя моменте. Но Самуил молчал. Он смотрел на Сашу остекленевшими глазами и выражал всем видом неясное; из его глаз, казалось, исчезли зрачки, и сами глазные яблоки, будто желая спрятаться от мира, ввалились куда-то в череп. Испугавшись нездорового вида своего друга и поняв, что зря это, Саша уже раскаялся, коря себя за эгоистское непонимание человеческих чувств. Однако Самуил заговорил.

– Брось ты, не нужно допытываться, я не отвечу никак... – неуклюже начал Эвель. – Не потому, что тяжело, а просто потому, что говорить особо не о чем. Там, кажется, что-то пищит на кухне, значит, уже готово? Долго же ты меня голодом моришь. Давай накладывай! – Самуил вернул глаза на место и быстро повеселел. – Всё же, разговор у нас был замечательный! Я люблю, когда можно поделиться мыслями, ты знаешь... знаешь.

Саша ушёл. Он про себя поблагодарил Самуила за быструю смену темы и вместе с ней атмосферы, хотя всё же не полностью освободился от совести и весь оставшийся день всё делал немного не так, и даже ходилось ему странно: ноги переставлялись чуточку шире чем всегда, никак не мог он по пути от комнаты до кухни, или по пути назад выровнять это расстояние шага, а чем больше об этом думал, тем менее лов-

ко ему удавалось ходить; о неправильно болтающихся руках он даже боялся вспоминать – так они мешали ему держать равновесие, всё время перегоняли шаг ноги и сбивались, как сломанные часы. Впрочем, с Сашей такое бывало всегда в моменты волнения или досады, после любого напряжённого разговора или инцидента; ему очень навязчиво казалось, будто вот прямо сейчас, в эту секунду кто-то смотрит, как он ходит – «Ровно или нет?». Вследствие мыслей об этом, каждый миллиметр отступления от нормы шага был для Саши катастрофой – снежным комом, подбивающим колени.

Оставшийся день оба провели неподвижно, спокойно, но многословно. Они вели беседы обо всём подряд и так, будто меж ними не может быть и намёка на разногласия.

К вечеру Самуил всё же устал без привычных ему гуляний, и чуть солнце стало заходить, он ринулся куда-то, попутно бросив Саше что-то про улицу, встречный ветер, свежий воздух, природу и радости жизни.

Саша, оставшись один, почувствовал пустоту. Ему чрезвычайно приятно было общество друга, с ним он приобщался к интересному и увлекательному, к тому, что наполняло. Справедливо будет сказать, что по большому счёту Саша не знал, чего хочет от жизни и к чему стремится, но знал, что стремится очень; он обладал живым, резвым умом, но не умел его хорошенько употребить, теряясь в комплексах и поставленных самому себе нелепых барьерах, за что тайно себя ненавидел. По причине этого незнания Саша и боготво-

рил друга, хотя обычно не слишком жаловал людей, предпочитая уединение.

Сейчас же он ощутил недостаток, нехватку чего-то важного в жизни. Ещё минуту назад Самуил выбежал куда-то как сорвиголова, наплевав на любое мнение о себе, оставив даже Сашу тут, без объяснений. Одного. Без цели. Без смысла.

На Сашу обрушился поток всего самого беспокоящего его, самого неприятного, но, как он считал – полезного.

«Мне уже двадцать три, или двадцать четыре? Не важно. В любом случае, у меня ещё ничего за душой, а надо. Материальное? Меня мало интересуют деньги и всё это бессмысленное. Почему? Апатия какая-то. Но это полезно. Надо думать. Только мыслями и приду к выводу, только вывод поможет что-нибудь мне начать. Как надоело просто существовать. Верно Самуил сказал, что всё уже за нас передумали и нет ничего такого особенного, что мы могли бы в своих мыслях урвать для себя и выдумать оригинальную идею, и даже то, о чём я сейчас соглашаюсь внутри, до Самуила уже думал... кто? Да, так, именно, – он шёпотом стал проговаривать вслух всё, что думает, попутно для себя жестикуюлируя. – Да, выдумать идею. А она ещё и не возникает сама по себе, пока тебя судьба не пнёт. Боже, никогда бы не подумал, что так к кому-нибудь привяжусь. Надо же... Да почему я божусь?! – нервно восшептал и взмахнул руками Саша. – Вечно прилипнет какое-нибудь слово-паразит. Это я нехорошо, конечно, применил эпитет, но так оно и есть.

Всё. Я найду себя. Непременно найду. Вот прямо сейчас и начну!» – Проговорив это, Саша быстро встал с кровати, на которой сидел в потёмках и, не зная за что взяться, нерешительно стал вертеться, осматривая комнату, как бы ища к чему прилепиться ему и творить. «Творить, или...» – Он мысленно подошёл к тому моменту, к которому приходил постоянно, если не знал, чем себя занять и терял смысл жизни и её цель; но перед тем, как пасть в пропасть и расслабиться, проиграв в борьбе за свои непонятные стремления, Саша услышал громкий, быстрый стук в дверь.

В глазок Саша увидел с испитым лицом женщину, имевшую тот самый отпечаток алкоголизма, который выдаёт и роднит всех алкашей, будто людей с Синдромом Дауна, впиваясь в их генетический код и разрыхляя, опухляя губы, превращая их в набухший вытянутый вареник, надувая кожу на скулах и притом размягчая её, делая прозрачной, так что выступают капилляры и вены. Он сразу всё понял и, не спрашивая кто – отворил дверь.

## VIII

Женщина оказалась, как верно предположил Саша «Хорошей знакомой тётъ Риты», пришедшей по знакомому адресу просить помощи у её внука, о котором она наслышана и естественно знает всю его подноготную, от места работы до того, какой он уже взрослый и красавец и всё это бабушкино прочее.

Мгновение, один взгляд, одно слово, одна мысль, и Саша раскалённой сталью ринулся за ведущей его женщиной, лютой яростью светясь в вечерней темноте.

Последние лучи солнца отняли своё тепло от крыш домов, уступив место прохладе и тьме; то же самое происходило в Саше. Ум его по мере приближения к третьему подъезду дома, через один от того, где Саша жил, затмевали гнев и негодование по поводу очередного позора, очередного стыда. Главное – Сашу раздражало бессилие.

По дороге он слушал женщину мельком, нехотя и лишь из любопытства. «Что там снова? – спрашивал он себя. – Бесконечное повторение одного эпизода в разных декорациях. Мне уже даже не стыдно, мне просто плевать. Вот так бы её и оставил там, если бы эта женщина не умоляла. Как она противна...». – Саша думал очень быстро, беззвучно проговаривая губами все свои мысли, уповая на темноту, которая должна бы скрыть его шевелящиеся губы.

– Она пришла как к себе домой, – неумолкала женщина. – Заявилась пару часов назад, села в кресло, и там! Вообще! А теперь сидит посреди комнаты на полу и этот свой псориаз чешет. Всё на пол. Опять пылесосить. Да что такое! – говорила она с лёгким татарским акцентом и плохим, нетрезвым выговором слов.

Саше очень не понравилось это *вообще*, связанное с креслом; однако последние слова, сказанные женщиной непринуждённо и будто даже обыденно, про необходимость пылесосить псориаз, неожиданно развеселили его, и он шёл теперь в самом странном расположении духа, желая не то смеяться, не то плакать.

Квартира подстать обитателям находилась, как на зло, на четвёртом этаже в их безлифтовом доме, и запыхавшийся Саша, войдя, старался не вдыхать чуть не ядовитый смрад, отчего ещё сильнее распаялось его сердце а дышать хотелось глубже и быстрее.

Сразу на прямо от входа, в спальней, между диваном, на котором сидел худой, вроде бы пожилой мужчина с большими ладонями и огромными на них пальцами, и облезлым трюмо сидела Маргарита Степановна, в состоянии страшном своим слабоумием, отгоняя от себя доброгосого этого мужчину и грозно приказывая всем удалиться, мягко говоря, в самое тёмное место, из *её* дома.

«Пшли вон отсюда! – повелительно и неустанно твердила седая старуха. – Всё! я сказала! Ненавижу! Не-на-ви-жу». –

Последние слова она проговаривала с расстановкой, деля их по слогам и таким тоном, будто в словах этих есть скрытая истина, постижимая ею одной.

– О, Александр! – Вдруг воскликнул мужчина.

– Саша, пожалуйста, заберите её домой, вы ведь внук, бабушку-то заберите, очень прошу. Можно я вас, – женщина потянулась зачем-то к Саше. – Она столько о вас рассказывала! Можно я вас вот так. – она хотела поцеловать Сашу своими опухшими губами в щёку, но, поняв отвращение на его лице, опустила голову и прислонилась к его плечу лбом, выражая этим уважение и своё смирение перед Сашей, как перед чистым существом, которого она недостойна.

Со спины, держа М.С. за подмышки, Саша не без труда поднял её на ноги. Он подпирал Пизанскую бабушку собой пока она, недоумевая, поворачивалась к нему то левой стороной, то правой, глядя через плечо квадратными глазами с белками цвета заката и пытаясь взять в толк, кто это пришёл и какое право он имеет так с ней поступать.

Через минуту колебательных потрясений Маргарита Степановна наконец успокоилась и даже смирилась со своей участью, позволив себя вести к когда-то бывшим белыми сандалиям к выходу; однако, видимо для поддержания имиджа и пущего эффекта важности непоколебимости своего характера, она продолжала бормотать до выхода из квартиры что-то вроде «Не поняла юмора...», обязательно ставя ударение на «о» в слове поняла, и Сашино любимое «На каком осно-

ваний?!».

Удивительно ловко попав стопами в обувь, М. С. вдруг узнала и осознала внука, просияла улыбкой и потянулась его обнимать. Саша быстро сообразил и выскочил из квартиры, принимая на себя бабушку, отходя всё дальше и дальше по подъезду, пока на первых ступеньках лестницы она не сосредоточилась и не успокоилась. Дальше он вёл её слегка придерживая за плечо, разглядывая сползающие с неё штаны, которые она старательно подтягивала.

Маргарита Степановна всю дорогу шла глядя на Сашу совершенно беззаботными, влюблёнными очами, повторяя обычные для подобного состояния фразы: «Саша, сыночек мой, если б ты знал... если б ты знал, как я... как я люблю тебя, если б... как тоскую по тебе». Саше были омерзительны эти слова; несмотря на то, что привычен к подобным ситуациям, он всё равно до ужаса волновался, как бы никто из знакомых его не увидел и радовался тому, что у него этих знакомых так мало. Ему хотелось и плакать и смеяться, он трясся от досады, мыслил открыто для себя о смерти бабушки и тут же смеялся и радовался её полнейшей невминяемой глупости, слушая эти вновь и вновь «Сыночек мой», «Если б ты знал...», «...тоскую по тебе».

– Я тебе не сын, я твой внук, во-первых. Во-вторых, отчего ты по мне тоскуешь-то? Склонность к патетике спяну проявляется? Тоскуют по усопшим, а ты... – Саша навёл себя на нехорошие мысли этим диалогом и поспешил откинуть

их, открывая дверь в подъезд. – Зачем я вообще с тобой разговариваю? Поднимайся быстрее. – его вновь насмешило её по-детски наивное, с прилипшими к щекам потными, седыми волосами лицо, в широкой улыбке обнажающее пустоты редкозубого рта.

Ровно в одиннадцать вечера этой долгой, не хотевшей кончаться пятницы, Саша завёл бабушку домой и, желающую его обнять, опять повёл за собой как животное за наживкой, а подведя к дивану, сладко пахнущему мочой и чем только *не*, усадил её, после мгновенно скрывшись из поля зрения и плотно хлопнув за собой дверью вонючей комнаты.

## IX

«Впереди сон и забытье, отдых и спокойствие, хотя всё это, в общем, одно и то же. – Думал Саша, входя к себе. – Приходил, значит... окно забыл закрыть. Да там дождь».

Саша подошёл к окну растеряв последнее желание думать. Его по привычке увлёл душевный отдых от всего, и он, лишь механически дыша, любовался крохами природы, что были доступны взору.

Меж домов, в узких щелях этих бетонных жилых стен, по правую сторону от Саши, где-то вдали виднелся едва подсвеченный тёмно-синий горизонт, очерчивающий контуры ворсистых сопок. Дождь, не нарушая тишины вечера, невидимо моросил, крохотными мягкими каплями опускаясь на землю и листья берёз, освежая их и наполняя умиротворением жизни. Даже рукотворный бетон, впитывая в себя влагу, ненадолго становился живым камнем и недвижимо спокойно блестел, отражая свет из окон и редкие вспышки далёкой бесшумной молнии, грозящей кому-то в облаках.

Саша смотрел в тёмное небо, глубоко утопая в нём. Его обволакивал свежий ветер, принёсший с собой приятный аромат озона и прохладные частички дождя, оседавшие на его руках и ресницах каждый раз, как порыв атмосферы влетал в комнату.

Саша смотрел на деревья и радовался. Они в большом ко-

личестве росли посреди двора и нередко касались домов, шелестя по ним листьями будто что-то тихонько шепча.

Дождь понемногу усиливался; молнии сверкали всё чаще и наконец сверкнуло так, что на мгновение стало видно каждую травинку и каждую росинку на ней.

Внизу на лавочке, стоящей посреди небольшой тропинки, идущей сквозь заросший двор, сидел человек и с наслаждением мок. Саша смог увидеть его благодаря той молнии и вдруг опомнился от увлѣкшего его созерцания.

«Это только он! Только он может быть! – его отдохнувший разум совсем отбросил переживания и счастливо восклицал. – Сидит и мокнет, и руками развѣл! Беззаботный человек! Я пойду, уже иду. Буду мокнуть вместе с ним. Почему я не могу вот так вот как он? Я уже иду».

Саша торопливо вышел из квартиры и, спускаясь по пролѣтам, с удивлением отметил, что уже первый час ночи и он простоял у окна всё это время, не замечая себя, не помня где были его мысли. Только сейчас он ощутил, как замѣрзли его руки; предплечья, которыми он упирался в подоконник намокли и затекли, а пальцы еле шевелились.

Быстрым уверенным шагом Саша подошёл к скамье и просто сел рядом с Самуилом, ничего не говоря.

Мимо них по тропинке пробежала влюблённая пара подростков. Парень старательно укрывал от дождя голову девушки пакетом, держа его двумя руками и громко смеясь. Девушка улыбалась ему в ответ и в свете очередной молнии,

заметив сидящих на скамье людей они смущённо захихикали друг другу и побежали ещё быстрее, подальше от ненужных глаз.

Сашу воодушевляло всё вокруг. Рядом с Самуилом он чувствовал всё иначе, совершенно по-новому воспринимая каждую каплю, каждый ветра порыв, каждый звук. Глядя на беззаботное веселье несущейся мимо пары, он размышлял о том, как хорошо наверное им двоим; как они делят между собой радость жизни, умножая её вдвойне, и эта радость только их. Только им одним принадлежат секунды, минуты, часы; им одним тот воздух, разделяющий их ненасытные губы; им одним принадлежит знание того чувства, что они хранят и к которому лишь они имеют ключи.

Саша был счастлив видеть их, но когда они скрылись в одном из подъездов, вспомнил, что именно он, и, как ему казалось, единственный в этом мире, все эти чувства безвозвратно упустил, вместе со своим детством.

Самуил, словно чувствуя мысли друга, опустил вознесённые к небу руки и заговорил:

– Им безусловно приятно вместе. Тебе тоже хочется, конечно. Этот бегающий, словно ищущий чего-то взгляд женских глаз, безуспешно пытающихся смотреть сразу в оба твоих. Поцелуй робких, но таких умелых девичьих губ. Нежность её кожи; нежность объятий; нежность тех губ... Нежность, нежность, нежность. – вторил он, словно пытаясь задержать Сашу.

– Чем тебе неугодила нежность? Я, на самом деле, удивлён, что ты так хорошо знаешь женские глаза. Мне казалось, что ты, как и я, не слишком имеешь успех.

– Разве ты не имеешь успех, Саша? Ты красив. Я тоже красив, но не в этом дело. Нам с тобой просто безразличны женские нежности... Всюду эта «жэ» – поморщившись, сказал Самуил.

– Не нужно путать меня с собой, – резко ответил Саша. – Мне не безразличны женщины и их нежности. Это и мои нежности. Это любовь. Вся проблема в моей занятости и усталости и... просто мне недоводилось с девушками говорить. У меня нет проблем в разговорах, уж поверь. Просто всегда кажется, что я не найду в девушке чего-то близкого себе, и разочаруюсь сам и обижу в итоге её.

– В двадцать три-то года ты о таком переживаешь? Или тебе двадцать четыре? В любом случае, ты знаешь, что отношения бывают и менее сложными. Непринуждёнными. Животными. Ты принципиально хочешь платонической любви? Хочешь раз и на всю жизнь? – Самуил скрестил руки на груди и откинул голову назад, ловя ртом капли дождя. – Вообще я тебе не советую ни того, ни другого. – отрезал он.

– Что же ты мне советуешь? Я критически нуждаюсь в советах конченного мизантропа. – Саша почему-то обиделся.

Самуил продолжил, словно не заметив оскорбления.

– На примере себя. Вот я: вечно я чувствую себя одиноким, и в груди болит и бурлит что-то... Но я Ведь не потому,

что хандрю попусту или распалюсь от нечего делать, я потому себя так чувствую, что совершенно осознаю одиночество каждого по отдельности. Все эти лживые стремления сблизиться... противно становится от одной мысли о дружбе. – он встал со скамьи и, опустив руки вниз, с любопытством, никак не связанным с текущим диалогом, рассматривал ручейки воды, текущие с его плеч к ладоням. Обвивая руки и быстро струясь они стремились вниз, чтобы потом, сорвавшись с кончиков пальцев разбиться брызгами о землю.

– Не существует никакой дружбы, – продолжил он. – А тот, кто говорит, будто я просто не умею дружить – сущий идиот и слепец, у которого, по всей видимости, бельмо на мозгу.

– Ты хотел сказать на глазу? – с невозмутимым видом, но взволнованным голосом прервал его Саша. – А как же мы с тобой? Я считаю тебя своим другом, Самуил. Тебе не кажется, что меня может подобное заявление обидеть? Ведь выходит, что ты и за друга меня не считаешь, хотя я тебе доверяю всецело, и приютил тебя, и вообще. Хотя мне, возможно, пора бы уже привыкнуть к подобной твоей прямоте и абсолютной невозможности тебя переубедить или переспорить. – Саша добро улыбнулся, оглядывая насквозь мокрого Самуила.

– Хотел сказать, что именно же на мозгу бельмо, на мозгу. А другом я тебя не считаю. Не бывает дружбы – в чистом её виде, в истинном. Будь я богом, запретил бы гово-

рить это слово, утверждать, что вы мол, какие-то там «друзья», и тому подобное. Это враньё, притворство. Или просто идиотизм. Сущий. Ты для меня, ну... приятель. – бормотал Самуил, всё так же глядя на ручейки, переводя опущенную вниз голову с одной руки на другую. – «Дружба» это даже слово не отсюда, его и существовать не должно бы, поскольку нет её. Каждый из нас одинок. И тот, который не понимает себя, – а таких большинство, – тот своей цели не видит и не осознаёт мироздания. Дружба, как и любовь, как и желание завести семью, – всё лишь эгоистическое проявление страха, возникшего от непонимания себя. А ведь некоторые даже целью жизни считают любовь и продолжение рода! Какая, прости, ахиня. Даже высшей целью. Духовной! – он вскрикнул на этом слове и беспокойно взглянул на дёрнувшегося Сашу, после чего закончил:

– И это страшнее всего.

Наступило молчание, однако продлилось оно недолго. Нетерпеливый Самуил заговорил дальше, нервно тряся руками перед собой.

– А по-моему любовь, это чувство совершенно земное, придуманное людьми и лишь для того, чтобы избежать встречи со своим я, от которой, впрочем, не убежишь. То есть выходит, что любовь – рожденный из страха паллиатив, из слабости! Как эта ложь может сметь даровать жизнь? Как эта ложь может сметь тешить надеждой и рождать в сердцах людей тепло, согревая их, когда на деле вокруг одна тьма,

безраздельный космос и холод, и только *ты сам* есть светоч, единственный, способный себе помочь?!

Договорив, Самуил прекратил наконец разбрызгивать перед лицом Саши дождь с рук и, будто совсем успокоившись, снова сел подле него.

Саша задумчиво оглядел Эвеля, вдруг вспомнив эту его фамилию, всегда казавшуюся ему знакомой; оглядел мокрые дома, в окнах которых уже почти не горел свет; и оглядел себя, насквозь промокшего и замёрзшего, в одной синтетической прилипшей к телу футболке, домашних шортах и тканевых тапочках на резиновой подошве, в которых бегал за бабушкой – заметно потяжелевших теперь, напитавшихся водой и хлюпающих, когда он шевелил ногами.

«Неужели я так и вышел? Господи...» – Саша с досадой думал о том, как он выглядел в этом всём домашнем, придя за бабушкой и потом ведя её назад, и в особенности разозлился на себя, вспомнив, как мимо пробежала эта влюблённая пара, и как они тогда хорошо смеялись, а теперь будто бы смеялись над ним и его странным для такой погоды видом. Он наклонился и взялся руками за голову. Перед собой, на земле, он видел эти свои совсем обычные, но очень сейчас глупые тапочки, а чуть левее кроссовки Самуила и, вспомнив про него, наконец решил, что ему ответить.

– Выходит по-твоему, что любовь – пелена? Горькая правда лучше сладкой лжи, ты об этом сейчас распляешься? А о продолжении рода можно подробнее? Я не улавливаю. Вот

эти инстинкты, желание делать и растить детей, они, по твоему, что же?

– Как ты верно понял. Именно потому и распаляюсь! Именно. А про род... – Обрадовавшись продолжению диалога заспешил Самуил, но Саша перебил его.

– Ну, как по-твоему, зачем тогда животные размножаются? Неужели они тоже любят друг друга потому, что не осознают собственного страха? Это даже смешно и нелогично выходит. Есть конечно самые разные, но посмотри на большинство, какие у них инстинкты, какие замечательные, тёплые отношения. Как они вынашивают и выхаживают, выкармливают своих птенцов, ягнят, даже волчицы волчат! Они растят их всеми силами, не бросают и отдают им себя, все они кладут себя к лапам и когтям своих детёнышей, чтобы продолжить жизнь, продолжить цветение и дать новым душам побывать в этом мире. – Саша говорил добро и умилялся, думая о любимых им животных.

– Я устал. – сказал Самуил, утирая с бровей беспрестанно льющую воду. – Мне этот разговор больше не интересен. Ты не думай, я не уваливаю. Просто не хочу об этом. Животные ещё не обладают тем сознанием и знанием, чтобы делать что-то из страха. Ими повелевает природа. Ими движет природный инстинкт. Они ещё не понимают, что весь смысл жизни, это другое. Это как раз то, чего они после, если вдруг эволюционируют, будут бояться.

Умолкнув он тяжело вздохнул, так что с его мокрых носа

и губ полетели бызги; он встал и сделал несколько шагов по траве, будто совершенно без цели; в полутьме он нащупал мокрый тополь, так редко растущий здесь, и прислонился к нему лбом, одной рукой обняв его могучий, ребристый ствол; он закрыл глаза, и по его векам и ресницам потекли ручейки, криво изворачиваясь на скуластом лице и капая с подбородка.

– Деревья, – пробормотал он. – Стойкие и молчаливые созерцатели. Из ваших тел строят дома, из кожи выют верёвки а опилками утепляют те самые дома; вашими трупами эти дома отапливают, вашими трупами торгуют и даже бумагу делают из вас, а вы лишь молчите в ответ, поскрипывая на ветру; вы дарите нам кислород, дарите жизнь, несмотря на подобные зверства. Мы не имеем права брать от вас ни щепки. Мы недостойны топтать ваши опавшие листья. Всё, что мы можем предложить, это себя, как биоматериал. Как биоматериал... Потому что не важны никакие открытия, не важны никакие цели! Мы приходим в мир с единственной целью, Саша. Мы приходим в мир, чтобы узнать *её!* – он выделил это последнее слово проникновенным придыханием. – А вместо этого бежим без оглядки к *выдуманному*; и это – всё, что нам свойственно: бояться настоящей цели, бояться закономерного конца. И всё же я лукав. Всё что я сказал также лишено смысла, ведь я так же не способен стремиться, не способен взглянуть *ей* в глаза. – Самуил повернулся к Саше, который всё сидел на скамье и пытался разобрать, слёзы это

текут из глаз его друга или остатки дождя что вот-вот утих. — Мне нужно только подтверждение. Нужно убеждение. Убедиться! В таком деле шанс один, но всегда можно попробовать и *кое-что ещё*, чтобы немного приблизиться, чтобы почувствовать и разобрать, прав ли ты.

— Ужасный монолог, — констатировал Саша. — Ужасный. Не в смысле плохой, а жуткий. Я себе губы искусал, пока слушал. Главное пугают твои идеи. Я лишь отдалённо догадываюсь о чём ты. Пугает, вдруг ты хоть немножко окажешься прав, и твоё больное мировосприятие окажется верным, а моё и всех вообще, выходит, больным... А ведь я только этого на «Н» вспоминал, и вспоминал, что ты был прав, хотя я уже не помню в чём, у меня мысли спутались... Ну конечно! Ты прав на счёт мыслей, что они уже все передуманы, и ты сейчас говоришь именно его языком, и это уже далеко не ново, когда он там жил? А ведь он с ума...

— Не нужно мне о нём! Замолчи! — резко перебил Самуил и нервно заходил на месте. — Я в жизни ничего омерзительнее не чувствовал, чем как тогда, с полной уверенностью в своей уникальности взяв в руки его, этого сумасшедшего, какую-то книженцию, и выяснив, что всё моё, надуманное с таким трудом, что даже мозг обливался потом, уже до меня кто-то тоже думал, и даже написал об этом, и даже жизнь закончил замечательно! Я имею в виду сойдя с ума, что сейчас модно. В общем, я пойду спать, а этот, он всё в основном скверное думал, и думал вовсе не то, что я. Даже ни одной

мысли у нас с ним не сходятся. Всё.

Закончив Самуил ринулся в дом и скрылся в подъезде, а Саша, всё это время отбивавшийся от неприятных ощущений, поддался им и поспешил за другом, чтобы дома обсохнуть и постараться забыть во сне впечатления сегодняшнего вечера.

## Х

Виктор Андреевич Горшин вернулся домой лишь в первом часу следующего дня, разбудив всех мальчишек грохотом своей неуклюжести.

Дети уже знали, в чём дело. Привычные, они без лишних эмоций повставали с кроватей, дружно вышли в прихожую и помогли отцу добраться до дивана, под неясное бормотание накрыв того его же курткой как смогли.

Двое близнецов – светловолосые мальчишки, обладали той особенной смышлённостью, присущей детям неблагополучных семей, при которой понимали и в полной детской мере осознавали своё плачевное положение с толикой небольшого неадекватного «но».

Это трудное положение заключалось естественно в недостатке средств и алкоголизме отца, который, хоть и пил, почти не бросал работу и трудился как мог; но детям приходилось насмотреться всякого. И даже сейчас, когда он невнятно бормотал, каждый из ребят молча отметил для себя, как безобразно их отец шевелит губами и плюётся прямо на диван; и как будто бы особенно резко и неприятно от него сегодня пахнет.

Старший – подросток Андрей, к отцу относился почти искренне безразлично: он его немножко любил; немножко презирал; однако в обычных случаях не испытывал к тому ни-

каких больших чувств и любил в себе это «немножко» как щит, скрывающий истинное тяжёлое сострадание.

Сейчас же Андрей думал только о себе и братьях. Он не вспоминал маму, которую не видел несколько дней; не вспоминал и не хотел думать о том, кого она принесёт с собой из роддома уже во второй для него раз и как опять изменится жизнь. Всё, чего он желал, чтобы отец уснул покрепче и если можно, чтобы не вскрикивал в пьяном сне, как это обычно бывало, и совсем хорошо, чтобы он не храпел.

Андрей поскорее помог улечься Алёше и Илюше, проследил, закрыта ли дверь и лёг сам, с мыслями о завтрашнем дне, в который он впервые пойдёт работать и хоть чем-то поможет семье и себе.

Пока Андрей уверенно заснул, двое других мальчишек, лёжа в той же комнате чуть поодаль от него на своей двухъярусной кровати стали перешёптываться о чём-то для них важном. Илюша, будучи сверху, высунулся вниз головой к брату и показывал ему что-то у себя в руке. В темноте Алёша никак не мог разобрать, что показывает ему брат и о чём он говорит «Сейчас и узнаем, почему папа такой».

Алёша протянул свою ручонку к брату и нащупал что-то гладкое и холодное, слегка сырое и явно стеклянное. Он вдруг понял, о чём это его брат и замахал на него рукой, но осознав, что тот скорее всего не видит, шепнул: «Ты где это взял, дурак?! Хочешь как папа вонять? Ты уже воняешь водкой! А скоро будешь как папа приходиться домой и шататься,

и как чума ходячая будешь!»

Эта «чума ходячая» была фразой мамы, звучавшей в доме ровно столько раз, сколько дети видели отца в этом неясном для них состоянии, и именно этой фразой они обозначали для себя всё плохое, связанное с водкой и отцом. Оба близнеца понимали, что состояние это скверное и что они никогда не хотят стать подобными папе, но любопытство донимало их не меньше отвращения, и в совокупности с шепотным характером «активиста» Илюши, они решили, что то, что осталось на доньшке этой «чекушки», непременно будет ими испробовано.

Об этом они и спорили. Придя наконец к согласию интересов и выяснив, что Илюша попросту помогал укрывать папу и нащупал чекушку в кармане его куртки, братья стали открывать.

Алёша крепко держал бутылку, а Илья, нависая со своего этажа, выворачивал изо всех сил крышку, и когда она поддалась, оба так дёрнулись, что чуть не уронили запретный сосуд. Жидкости в нём было на доньшке и они условились сделать по глотку.

Первым, как и обычно, свой ход сделал Илья. Он смело взялся за горлышко и понюхал отвратительное пойло. Прежде чем пить, дал понюхать и брату. Вместе они, со сморщенными лицами, не видя друг друга, но в унисон задумались и снова стали спорить.

В пылу спора Илюша наконец сделал резкий глоток, про-

лив на себя и ещё на постель. Вся комната наполнилась горьким ароматом алкоголя, а в Илье, поперхнувшись второпях, собирался вулкан. Он сдерживал кашель целую вечную секунду и взорвался им, перебудив, наверное, всех соседей, но только не брата, на счастье.

В бутылке не осталось ничего. Илья мгновенно почувствовал неладное в голове, его глаза стали плавать а в голодном желудке горело что-то и жгло его внутренности. Он рассказывал ощущения брату и, когда хорошенько улётся, испугался, что не только его глаза, а уже он сам летит куда-то и вот-вот упадёт с кровати.

Алёша хорошенько всё запоминал и пытался представить себе ощущения брата. Он не испытал досады, но получил облегчение оттого, что ему не придётся пробовать, хоть и переживал за Илью. Но и его переживаниям скоро пришёл конец, потому что брат спустя некоторое время перестал отвечать на зов, вернее отвечал, но уже что-то такое, что обычно отвечает отец, когда мерзко пахнет водкой лёжа на полу в прихожей. Алёша знал по опыту что к утру всё пройдёт и тоже уснул, совсем забыв, что в руках его брата так и находилась опустошённая чекушка, источающая зловоние.

Примерно в то же время Саша, лёжа на боку у себя в постели и глядя в стену, никак не мог уснуть. Его поглотили мысли о той паре, пробежавшей мимо него сегодня. «Влюблённые... – думал он. – Мне этого хочется, хочется влюбить-

ся. Почему же я до сих пор не влюблялся? Я чёрств? Я корка серого хлеба? Высохшая горбушка? – он ворочался и безрезультатно подтыкал одеяло, которое, как ему казалось, продувало брешь в его спокойствии, открываясь то тут то там. – Я очень даже умею любить. Особенно знаю, что умею глазами. Я не зачерствел после *того*, конечно нет. Я только забыл. Забыл себя и, наверное, в этом забытьи и прожил последние годы, а теперь я из него выхожу, – он в очередной раз перевернулся и увидел сопящего Самуила, который, как подумалось Саше, не спит а только притворяется. – Благодаря *этой* вот кадру не в последнюю очередь, – он высунул из под покрывала палец и сам для себя показал в сторону друга. – Он всё же меня растормошил сегодня. Страшно его слушать, особенно когда стараешься верить в какую-то отличную от его собственной цель – вот в любовь, например».

Саша снова перевернулся и старательно сморщил веки и лоб, в попытках сжать мысли чтобы поскорее забыться, но его мозг наотрез отказался выполнить поставленную задачу, продолжив кипеть и вариться в мыслях.

«Любовь – цель? Я ли соединил два этих слова в одно предложение? Отчего вдруг я... – глаза Саши побежали по еле видному узору выцветших обоев, он снова высунул палец и повёл по этому узору, обрисовывая его и неосознанно занимая себя от той мысли, что снова его напугала. – Всё-таки страх. Это он безусловно. Я боюсь этой пустоты, боюсь этого *ничего*, о котором говорит Самуил. И всё, о чём думаю

теперь, это бегство; бегство от себя к любви, к другим... да нет же!»

Его рука вытянулась насколько возможно вверх и палец уже не мог бежать по обоям выше. Саша улёгся на спину, вздохнул, и вдруг все его мысли исчезли. Он пролежал так ещё несколько минут и наконец начал засыпать, но как только вернулся в исходное положение на бок, мысли снова нахлынули на него, а его палец стал витиевато кружить по узору на месте, и уже он не смог отвертеться.

«Как это удивительно, что они не хотят идти, если я на спине. А о чём я вообще? Ах, о «да нет же!» А ведь на спине и спать неудобно, однако легче уснуть. А на боку как удобно, но и мыслей просто тьма. Как-то спуталось всё... Действительно! – Нет же! Я о любви думаю из-за той пары, а вовсе не из страха. Не из страха, конечно нет, конечно. Эта бездна притягательна и хочется в неё упасть, чтобы лететь без конца, и я чуть не прыгнул. А Самуил летит... он в вечном полёте; но я хочу контролировать себя, свою жизнь, свою судьбу; хочу сам всё строить, ходить по земле, и любить хочу сам! А как они премило смеялись друг другу... и дождь лил не на них, а для них! Теперь именно так это кажется, так вспоминается. Я теперь от всех этих мыслей что-то чувствую в животе; какой-то голод. Духовный? – Саша прижал обе руки к животу и подтянул ноги, будто мучаясь от страшной боли. – Именно так ощущается недостаток, потребность в любви? Животом... это сомнительно и пугает, и снова в голове

все эти его слова! Как я устал! Признаю – правда в том, что пустоту заполнить нужно, и это как голод, и это как страх, и это... Но так и должно же наверное быть? Разве не нормальна для нас тяга к нежности, как к воде или пище? А он лишь выдумщик. Он это от безделья всё. Он естественно что ненормальный, это я и раньше понимал, а осознавал ли? Кого я впустил в свой дом?»

Саша испуганно повернулся к Самуилу, но не потому, что увидел в друге опасность, а потому, что ему показалось, будто он шепчет всё вслух и от этого его взял конфуз.

Убедившись, что Самуил всё же крепко спит, Саша снова вздохнул и тяжело лёг на спину, вскоре забывшись во сне, но слыша ещё долго, где-то там, в голове, одни слова: «А о чём он говорил, и о ком? Убедиться как? В глаза? Подтверждение? Подтверждение...».

## Д.Н.

Продолжая пособничество собственным психическим отклонениям или, как ещё кое-где было: «социальному уродству» – без сомнения восхитительному признаку наличия подлинной мысли, – бродя по краю предлесового таинства, спешу выписать заметки на тему прочитанного вами несколько глав назад.

Инспиратив – удобнейшее, звучное словцо, но я, пожалуй, скажу просто: побудитель. Какой побудитель требуется мысли в её зачаточном состоянии? Не той, что в движении пробуждается и свербит в голове пока не будет записана, а той, что дремлет, ещё не знает, что существует, не осознаёт себя? Уже было сказано. И ответ всегда единственно верен, всегда очевиден, а кроме него: пример.

Мысль – растение робкое, привередливое. Ей требуются непременно полосатые условия, то штиль, то ураган, то самый малый лучик света. Тогда и удаётся избежать проклятого сорняка одинаковости.

Видимо влияние окружения – мои ботанические наплывы. Всюду зелёная чистота. Так и хочется нырнуть в только что обогретую солнцем росу! Но следует закончить.

Стеблем жизни, её опорой, нерушимой колонной я вижу только цель – цель не придти к чему-то, а уйти, сбежать от раздражителя. Вся суть жизни в беготне от кнута к пряни-

ку, и, если вдруг осознанной, то непременно и назад. Отлично бы, если кнут держать в своих руках, понукать себя этим стимулом, потому что без копыя позади никакие пряники не нужны. Это всё известно. Неизвестно другое – предмет моего интереса.

Что же тогда? В безмыслий, безобразной аморфности сейчашнего человека, стимулом самой жизни оказывается смерть, а точнее страх смерти. Не умереть – вот это стимул! «Инстинкт самосохранения!»... тьфу! А по мне – чудовищный порок в генетическом коде, или где бы он там ни был.

Можно ли этот стимул сломать? Раздавить с хрустом его паразитский хитин каблуком бесстрашия и независимости? Впрочем, если мой слог наводит читающего на аналогии с рыцарской храбростью, – мол этого я жажду, – здесь нет места храбрости. Бесстрашие – значит именно жизнь без страха! Не путать с умиротворением. Ничего лишнего.

*Блажен, кто рано по утрам  
Встает с постели без сомненья, —  
Тому и пища ни к чему,  
И в сладость тяга к завершенью.*

Именно со смыслом оригинального стиха – не этой моей переделки, – у меня ассоциируется любой человеческий страх. Это мусор, отход жизнедеятельности и в то же время главная её причина. Какой-нибудь процент от миллиар-

дов танатофобов-псевдожизнелюбов обязательно примешает меня и мои измышления к нездоровью бестолковых, сексуально озабоченных моральных калек, да ещё и без права обжалования. Но впереди ещё достаточно страниц, достаточно времени, чтоб донести до присяжных мою точку зрения.

Внезапно всё превратилось в суд – что-то во мне страдальческое требует бичевания. А где-то во глубине, приторным звоном напоминания даёт о себе знать ещё тот вопрос: другой процент тех же миллиардов обвинит меня в романтизации погашенных факелов и сломанности бабочкиных крыльев.

Где моё спокойномыслие? Так ли нужно оно?

# XI

Выходные проплыли туманом густого беспамятства и забвения мимо Сашиных глаз и ушей: он почти ничего не делал, почти ни о чём не думал; ему не хотелось есть, не хотелось смотреть излюбленное аниме или играть, не хотелось лежать на кровати, не хотелось встать и пройтись; он не мог заговорить с Самуилом, ускользавшим по каким-то собственным соображениям в закомнатное и заквартирное пространство – словом «стены уютной тюрьмы», – именно в таком свете памятующиеся в голове Саша по фразе Самуила, – приковали его, его взгляд и редкие думы к своему безответному эгоизму.

Единственное, чем запомнились Саше выходные, это визитом субботним вечером к нему одного знакомого, с которым он не виделся уже чуть не год, да и теперь только пробежавшего «мимо по делу».

– А я боялся не застать! Я вообще тут мимо по делу, но было бы скучно не повидать и тебя заодно! – с живостью, широко улыбаясь говорил энергичный мужчина, упираясь одной рукой в дверной косяк и протягивая другую Саше.

– Костя, привет, – вялыми губами отвечал Саша, пытаясь растянуть их пошире. – Ты, смотрю, снова с женщиной? С предыдущей сошёлся? Или с дважды предыдущей? – Саша невольно заговорил о больном.

– Какой ты резкий! Ты расскажи хоть, как у тебя дела? и, собственно, с чего ты взял, что с женщиной? у меня где-то помада на лице? Чёрт, а *этот* даже не сказал! – снова весело протараторил Константин, принявшись потирать лицо и смотреть на руки, нет ли там чего.

– *Этот*? – Саша кивнул вниз по подъезду, – Проверяешь моего старого-нового соседа? А про женщину понял по весьма выдающейся у тебя абдоминальной области, так что можешь перестать тереться, с лицом у тебя всё в порядке.

Саша улыбнулся в полную силу и немного привык к визитёру, почувствовав даже прилив бодрых сил.

– Абдоминальной? Этой что ли? – он похлопал по своему животу и подъезд задрожал от неприлично громкого в такое время эха. – Это да. Одно слово, *живот* — значит жизнь! Сейчас эпидемия поголовная у молодёжи на *умные* слова, вставляют где угодно и не попад, хотя я, конечно, не имею ничего против, Саш, если *тебе* вот, нравится. Заходил я да, – к Трофиму, проведать; он сейчас подо мной, в смысле, неофициально я за ним наблюдаю, давний он, известный, ну и мало ли что... собственно. – Солнцев опустил глаза и едва заметно нахмурил брови, но тут же неловко вскрикнул:

– Да ты рассказывай уже, что и как! Войти-то можно?

– Можно, я один. Только не разувайся, не вздумай. Тут только в обуви. И даже в обуви противно... – Саша впустил Солнцева и повёл в кухню. – Бабушка ещё утром ушла, её ничего не учит. Вернее, она ничего и не помнит. Ну, об этом

потом. Чай будешь? Присаживайся. На всё это дерьмо внимания не обращай, сам знаешь, что с моей бабушкой о гигиене и чистоте...

Солнцев уселся на деревянный стул и, не показывая отворачивания к обстановке, которое у него без сомнения возникло при взгляде на липкие грязные пятна, покрывшие клеёночатыю скатерть, согласился на чай.

Он рассказал Саше о том, что делал здесь и почему только *мимо*; рассказал, что работы в последнее время прибавилось, особенно бумажной, и отчасти по причине этого сидячего положения у него появился живот, но всё же Саша был прав на счёт женщины – у него *очередная*, хотя, конечно же, никакой речи о любви быть не может, тут только одна очень приятная привязанность случилась, потому что женщина действительно хорошая.

После рассказа, довольно короткого и, как показалось Саше, слегка увилистого, Солнцев расспросил Сашу о делах. Саша рассказал всё о бабушке, о том, что живёт теперь с другом и поняв, что его гость торопится, сделал это так же коротко. Константин же крайне удивился, услышав о друге от Саши; он знал, что подобное из уст именно *этого* человека значило многое.

Они быстро испили чай, хотя Солнцев оставил больше половины кружки, и Саша проводил его. В дверях Солнцев энергически обнял Сашу, похлопал по спине и, сказав, что «Безумно рад был видеть и слышать», взглянул на наручные

часы, после чего, круглоокий, помчался вниз по лестнице, быстро перебирая ступени мощными тренированными ногами.

Солнцев вообще был достаточно спортивным и молодым мужчиной. Сколько Саша ни пытался вспомнить его возраст, этого никак не выходило, однако было точно, что Косте где-то между сорока и пятидесятью годами, он уже совершенно зрелый и состоявшийся мужчина, служащий следователем в прокуратуре. Очень увлечённым следователем.

Заперев дверь, Саша вернулся к себе в комнату. Он выключил свет и, сев за компьютер, бесцельно водил мышкой, всё ещё не зная чем занять себя, особенно теперь, с новыми силами и энергией, которыми зарядил его Солнцев. Он неосознанно стал перебирать в голове все эпизоды с этим человеком и, забывшись, неожиданно наткнулся на тот самый нежелательный эпизод, который их и познакомил ещё в детстве Саши.

Мгновенно усталость вновь поглотила его; горькие воспоминания вытянули из него все соки и, не в силах усидеть, он отпустил контроль над телом, дав себе скатиться со стула на грязный пол. Он упёрся в него локтями, почувствовал, как тяжелеют мокрые глаза. Голова Саши, только-только прояснившись теперь снова наполнилась туманом, но уже вперемишку с дымом и гарью. Остатками прошедшего и давно минувшего наполнились все мысли Саши; угли трагического

события обжигали изнутри и коптили его сознание, подводя к главному вопросу: «зачем?»

В голове Саши началась уже бывшая раньше, но всё ещё колющая, непривычная борьба, и чересчур громкие мысли будто бились о стенки черепа.

– Зачем? Зачем же ты дальше живёшь? Что есть в тебе? Ты пуст! – твердила остервенелая мысль с ножом вместо языка.

– Цель? У него есть цель! И время, есть ещё столько времени! Столько времени впереди! И сил! Нет. Нет сил. Но он накопит. – твердила другая, неопределившаяся мысль с заплатами и молотком вместо языка.

– Я накоплю! – воскликнул сам Саша.

Он оставался на полу полулежа, уперевшись в него локтями и схватившись за голову. Воспоминания о том, что случилось *тогда*, разодрали струп незажившей раны, причинив Саше боль. Однако страдал он в большей мере от ран, которые наносил сам себе, и которые никак не относились к той трагедии.

«Я накоплю силы! – повторил он вслух. – Я накоплю силы и найду себя; найду цель, найду возможность, мотивацию, найду всё, что нужно! Иначе эти мысли правы, иначе жить мне незачем, без цели и перспектив, работая роботом-рабом; без любви и... без любви! Вечно я о ней забываю, хотя теперь это слово для меня что-то значит, теперь я уже ощущаю его тепло. Любовь... Наверное в ней сейчас моя цель. Все

говорят, что ради любви можно горы свернуть, но я им не верю. Я сам попробую. Сам всё попробую. Отстаньте от меня! Боже, как болит голова. И я лежу на полу, и говорю сам с собой, и рыдаю... Весь пол уже мокрый, господи»

При последних словах Саша улыбнулся себе. Ему немного полегчало после всплеска эмоций и он наконец встал.

Он стоял посреди комнаты, смотрел в окно в каких-то ему самому неизвестных раздумиях, стараясь уловить что-то в себе, но никак не мог выяснить, что же ловит. Саша пришёл в себя лишь тогда, когда свет от экрана монитора погас, прекратив озарять его лицо синевой.

Единственным источником света стал теперь уличный фонарь, нарушающий своими лучами Сашину тишину. Саша постарался как смог перекрыть этот назойливый свет. Он завесил окно старой простынёй, зажав её концы меж створок, и, решив, что утро вечера мудренее, успокоив зловердные мысли, постарался удобно улечься, чтобы поскорее как можно крепче заснуть. Чуть позже, сквозь сон он слышал, как через стену соседи что-то кричат и плачет их годовалый ребёнок, но это было привычно, и кроме привычного же отвращения к такому отношению к детям, Саша ничего не испытывал.

## XII

Было уже двенадцать, когда Солнцев поглядел на часы в подъезде Саши; и вот уже как пять минут он добирался на своих сильных ногах до бара, в котором условился выпить со своей женщиной, другом и его Женой.

Через спокойные переулки и через не очень спокойные он быстро достиг нужного места. Из-за угла показалась сильно освещённая улица и Солнцев услышал глухую музыку, сопровождаемую живым разговором знакомых ему голосов.

На крыльце, выходящем с торца нежилого дома, в котором и находился бар, стояли курящие и пьяные самые разные личности, а у первой ступени внизу те, кто был Солнцеву дорог.

– Такси снова побрезговал? – Улыбаясь, спросила темно-волосая миловидная женщина, завидев Солнцева.

– Он всё о своём весе беспокоится? Как вообще можно с таким человеком спокойно уживаться? Ох, Лена, я тебе сочувствую. Даже прими мои соболезнования. Мужик без машины в наше время... – Ответил ей, смеясь, мужчина, стоящий рядом в обнимку с Женой.

– Максик! – как-то неясно, то ли шутливо, то ли действительно серьёзно одёрнула мужчину Жена, хлопнув ладошкой по его большому и крепкому с рыхлой кожей плечу, некрасиво обтянутому синтетической футболкой. – Человек за со-

бой следит и прекрасно выглядит, в отличии от некоторых.

– Ну какой Максик, милая? Я своё имя ненавидеть начинаю, когда ты меня так зовёшь. – Нахмурившись иронизировал мужчина.

– Я твоё имя вообще в любой форме не перевариваю, дружище. – Громко и радостно сказал Солнцев, здороваясь с другом и целуя руку его Жены, как это по его мнению верно делали встарину, и как он считал, должно делать и сейчас.

Обернувшись, Солнцев встретился взглядом с энергичными глазами темноволосой женщины. Он тепло обнял её, как мальчишка и коротко поцеловал, а после, глядя на неё, приподнял брови и придавил зубами свои губы изнутри, будто бы извиняясь, досадуя, что опоздал.

После приветствий все они весело вошли в бар и разместились за первым свободным столиком. Вокруг было много народу, много шума и много всего вообще. Они заказали всё привычное, однако Елена ещё не была полностью привычна к подобным посиделкам, как не была привычна и для этих троих посидельщиков; для неё это был только второй совместный с ними раз, и все удивились, когда она заказала горькое тёмное пиво, а потом с наслаждением его потягивала, держа тяжёлую кружку двумя руками и мило придерживая пальцами кудрявые чёрные волосы, норовившие испускаться в питье.

Первые полчаса разговор шёл оживлённый, но лишь о самом простом и обыденном, что нравилось Солнцеву, но яв-

но утомляло его спутницу. Спеша развлечь друзей, Максим с Женой занимали и даже донимали Солнцева и Лену расспросами о всяком *важном*; им необходимо было наставить Солнцева на правильный по их мнению путь, и всё это *важное* заключалось в совместной жизни и в особенности, – на что делала упор Жена Максима, – в «акте дачи показаний», как она, желая быть остроумной, выражалась, или даже в «даче взятки». Всё это относилось, конечно же, к предложению руки и сердца, однако Солнцев страшно не любил говорить о подобном, и ещё больше сердился, когда слышал эти фразы не к месту. Он безуспешно пытался вежливо сменить тему, но постоянно сдавал назад под натиском упорствующей Жены Максима.

Лена относилась к этому очень легко, как и вообще, за исключением нектого, ко многому; её веселил уверенный в себе и сильный, но робеющий перед женьбой Солнцев; веселила и Жена Максима, своим желанием их свести, несмотря на то, что знакомы они чуть дольше полугода, а стали вместе жить только месяц как – на что Лена улыбалась не слишком искренне, скорее воспринимая всерьёз; веселил и Максим, который, пока Жена увлекалась разговором, поглядывал на двух девушек за стойкой, бросающих на него в ответ странные взгляды, явно несущие в себе негатив о его Жене, а он эти взгляды не понимал и определял их как самые настоящие знаки внимания.

– А куда ты ходил-то, кстати, перед баром, и почему мне

пришлось идти одной? – Как можно громче и заметнее сказала Лена, подперев рукой левый бок и делая вид, что возмущена.

Её приём подействовал и Жена Максима наконец отвлеклась от единственного, что занимало её всю жизнь. Она повернулась к мужу и что-то заподозрила, пристальным взглядом пронзив его до самой души; она вскрыла его и обнаружила внутри мужа, как и всегда, одну глупость и испуг перед ней. Однако это было как раз то, что Максим показывал снаружи, и до нутра его она добралась лишь в своих мыслях.

– Я по работе заходил, – с облегчением откликнулся на вопрос Лены Солнцев. – Хотя вообще-то не по работе, то есть, не официально, но надо было срочно проверить одного экземпляра, который только недавно вышел. С ним ещё давняя история и я с ним очень знаком. А ещё, почему собственно и задержался, в том же месте живёт мой хороший друг. Молодой парень Саша, я его с малых лет знаю. Он мне по определённым причинам дорог. – Солнцев смолк и направил в рот горсть солёных орешков, которые не любил, но решил, как-то машинально, отведать.

– Это интересно. Расскажи! – Лена чуть подалась к Солнцеву и положила свои красивые тонкие ручки ему на плечо, сверкая глубокими голубыми глазами. – Ты, кстати, совсем не пьёшь. Можешь расслабиться, меня твой небольшой животик не смущает, и вес ты набрал только от моей готовки, а отнюдь не от кружки пива по выходным.

– Я... Ну, немного. – Засмутился Солнцев и сделал освежающий хмелем глоток. – И за твою заботу я тебе без меры благодарен! Если бы не этот побочный, как его там... – он нахмурился и улыбнулся, что-то вспоминая, – абдоминальный, что ли? Да, если бы не этот побочный эффект в абдоминальной области. Про Сашу, значит, рассказать? Кстати это слово от него сегодня услышал. Было неприятно про живот, хотя он заметил шутя. Ох, ладно. – Солнцев вздохнул. – Вообще не для такой обстановки разговор, но если ты готова выслушать, то я вполне могу.

– Да, давай! Люблю как ты умеешь рассказывать. – Воскликнула Лена и ещё сильнее всмотрелась своей синевой в лицо Солнцева.

– В общем, так: это наверное у многих, что первое дело самое запоминающееся, и я не исключение. Сие конкретно было не первым, но одним *из*, и я как сейчас могу картину в голове нарисовать.

## XIII

– Приехал на место. Тут главное не сам факт, а именно детали. Я к деталям крайне внимателен и к тому же тогда немного увлекался писательством, правда у меня не пошло, но дело вот в чём: я захожу в неизвестную мне тогда квартиру, перед глазами предстаёт длинный коридор; на потолке лампа без плафона шатается, резкими лучами бьёт по глазам и освещает всё вокруг, заполняя углы безобразно живыми тенями; опускаю глаза, и вижу в бликах на грязном полу мальчишку, сидящего на коленках рядом с трупом женщины и... вижу, не всего мальчишку, а будто только его взгляд. Он смотрит совсем спокойно, он уже всё решил и понял, ему безразличны мои действия и действия сотрудников. Никто его от матери оттаскивать не стал и он так и сидел, пока её тело не забрали. Но это не вся картина. – Солнцев ненадолго остановился, чтобы перевести дыхание и сделать очередной холодный глоток, а после продолжил:

– Я ещё ниже опускаю взгляд, наконец вижу всё. Представь: Совершенно спокойный ребёнок у трупа матери; у неё пробита голова и пропитавшиеся липкой кровью волосы рассыпаны по полу и по её лицу, а вокруг головы огромная багровеет лужа; рядом тумба с окровавленным острым углом; но вот, что помню лучше всего: ногами ко мне и головой в той же луже лежит глава семьи. Ясно, что пьяный, отец маль-

чика мирно сопя лежит на полу лицом вниз, и от его дыхания густая кровь пузырится, пачкая нос и губы.

– Боже мой... – едва заметно покачав головой воскликнула Лена.

– И это норма, конечно, в практике и вообще. Я бы сказал, ничего страшного в том для меня не было, я был бы безразличен ко всему, и только из профессионального интереса действовал, если бы, ну, ты знаешь. – Солнцев уставился на кружку пива и стал пошатывать её, разглядывая волнующуюся пену.

– Да, я только подумала, что это похоже на твоё... – Лена приложила свою ладонь к руке Солнцева и успокоила её, чтобы он не пролил случайно пиво. – Извини, Костя, не нужно дальше рассказывать, я не думала, что будет вот так. Мальчик и есть Саша? И ты к нему в итоге прикипел?

– Прикипел... ну, как, собственно, сказать? Я ему сочувствовал. Потому что примерно так вот и я пострадал. Хотелось как-то помочь. Я из-за такого своего случая потом и обозлился, и решил идейно пойти в тогда ещё милицию служить. Учился упорно.

А с Сашей стал немного общаться, приглядывал чуть-чуть. Его бабушка взяла под опеку. Очень эффектная и специфическая женщина, я тебе скажу – два высших образования, строгость ума, – серьёзная, в общем, натура. Но ещё тогда, за год до смерти дочери вот, её муж, то есть дедушка Саши, сгорел в деревянном доме, уж не знаю как там всё

обстояло, и видимо... да не видимо, а точно в ней что-то пошатнулось, и уж смерть дочери её добила. Внука она под опеку взяла и роль сыграла отлично, ещё около года вот так держалась, а потом началось. Пьёт она уже сколько лет почти беспробудно, – Саша сегодня жаловался. Ну и... вот так и живут. Саша тем не менее вырос упорным и способным парнем. Я иногда его проводывал, сейчас реже, но ещё захожу по возможности. Он мне стал хорошим другом, хотя он меня другом, кажется, не считает. Кстати вот! что меня удивило: он рассказал, что друга нашёл, хотя вообще, насколько я помню, с общением у него ладится не особо, и...

– О ком это вы всё?! – прервал рассказ Солнцева Максим, всё это время ласкавший уши Жены любовными убеждениями и всем этим необходимым прочим. – Разговорился, видишь. Вместе хочу разговаривать. Внимаю твоим устам. – по всему было видно, что Максим уже находился в состоянии *весьма*, хотя ещё не *совсем*.

– Ну вот. Перебил. – недовольно отозвалась Лена, смерив вдруг ставшими грозными глазами улыбающегося стеклянного Максима.

– Ты, как всегда, быстро пьянеешь, друг. – Солнцев улыбнулся и подался к лицу Максима поближе, чтобы шепнуть:

– А ещё говоришь, что со мной тяжело. Тебе завтра не на смену? Как там, кстати, ваша Катя?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.